

Яна Дубинянская

Сад камней

Это оникс, детка.

Осенний оникс, самый грустный и спокойный камень. Как будто расходятся круги по воде, по черной воде непроницаемого пруда в ноябре. И случайное солнце, мягкий желтый лучик вот тут, на срезе. Сейчас у нас лето, но ты же помнишь, какая бывает осень?

Это яшма.

Когда природа хочет нарисовать красивую картину, она берет яшму. Рисует, а потом прячет внутри камня, но если постараться, можно найти. Здесь море, видишь? Волны, большие, зеленые и чуть-чуть коричневые, а на горизонте маленький кораблик. Вот закат: солнце, как яблоко, а вокруг него розовые облака. Тут у нас лес, деревья, в камне они называются дендритами, тут опять море, только гладкое, шгиль, и чайка летит. Яшма бывает разноцветная, какая хочешь. И черная тоже. А теперь смотри, портрет девочки. Не видишь? Вот у нее глазки, вот улыбка, вот косичка с бантиком...

Это сердолик.

От слова сердце. Ничего, что желтый, сердце на самом деле тоже немножко желтое, его только рисуют красным. Необработанный не очень

красивый. А вот сердоликовые бусы. Бусинки не совсем круглые, они все разные и по форме, и по оттенку, потому что одинаковых камней, как и сердец у людей, не бывает. Да, эти две по краям почти, правда. Но ты присмотришься получше.

А сейчас я покажу тебе фокус. На что похоже? Правильно, на яйцо. На большое-большое яйцо здоровенной птицы, страуса, наверное. А теперь посмотрим, что у него внутри. Поднимаем крышечку...

Это горный хрусталь.

Друза. Так говорят, когда камни вырастают вместе, словно букет кристаллических цветов. Давным-давно, в самые что ни на есть незапамятные времена в этом сером камне образовалась полость, пустое место. И в ней начали расти кристаллы горного хрусталя, прозрачные, сверкающие, спрятанные, как сокровище. Если б я их не нашел, они так и заполнили бы собой всю полость, нескоро, через миллионы лет. Но я знаю, как искать, знаю один секрет. Смотри внимательно. Закрываем крышечку назад. Видишь — тоненькая беленькая полоска? Когда найдешь круглый или овальный камень с таким пояском, его надо расколоть молотком и посмотреть. Правда, там может ничего и не оказаться. Совсем-совсем ничего. И обидно.

Вот еще один такой камень-яйцо. Открываем.

Что у нас тут? Манюсенькие фиолетовые кубики, и теснятся друг к другу поплотнее по краю, чтобы все поместились, им досталась очень маленькая полость, одна на всех. Это флюорит.

А это авантюрин.

Камень, в котором живут золотые искры. Вспыхивают на солнце, гаснут в тени, они и в самом деле живые, честно. Камень чудес и приключений. Ты любишь приключения? Любишь, я знаю. А если тебе кажется, что в жизни их не бывает, что все темно и тускло, то ты глубоко ошибаешься. Очень просто: берем и поворачиваем лампу, направляем луч... Загорелись, видишь?!

Это барит, роза пустыни.

Каменный цветок, выросший в песках, без капли воды. Кажется мертвым. Самым мертвым из всех камней, потому что очень похож на живую, настоящую розу, другие-то камни не притворяются живыми. Но ты все-таки учитывай, что она из пустыни. Там все по-другому. Там приходится иногда вот так.

Это аквамарин.

Аква — значит вода, марина — морская... да что ты говоришь? Мое любимое имя. Аквамарин — это берилл, бериллов на свете много, прозрачных, разных цветов, но он самый красивый из всех. Красивее моря вообще ничего не бывает. Запомнила? Аква-марин.

А это ты наверняка знаешь. Янтарь.

Смола древних деревьев, умница. Загляни сюда, в увеличительное стекло. Маленькая-маленькая мушка прилипла когда-то к смоле, не повезло. Зато она сохранилась в камне навечно, а так давным-давно бы умерла. Янтарь теплый, живой, солнечный, из него часто делают украшения, бусы, серьги. Не знаю, почему-то я не люблю янтаря. Он и не камень на самом деле. И потом, жалко глупую мушку.

Не устала?...

Это гематит.

Это опал.

Малахит.

Агат.

Бирюза.

Турмалин.

Халькопирит...

* * *

— А теперь выбери себе камушек, и пускай мама купит его тебе на память.

— Я возьму все.

— Ну, не капризничай, выбери. Из этой коробочки.

— Они все мои! Я же их смотрела!! Все — мои!!!

— Женщина, заберите ребенка! Расколотит витрину — будете платить!

— Тихо, тихо, Маришечка, не надо, не плачь, пошли...

Часть первая

Глава первая. Оникс

...не найдут. Вот как я их всех!

Придерживая сбоку перекошенную, аварийную занавеску, я пялилась в окно, и когда мимо проносился очередной полустанок — полосатые столбы, пару приземистых строений, тарелка-антенна, собака на цепи, кошка в окошке, бывает же такая жизнь, — хохотала, как сумасшедшая; да я, наверное, сумасшедшая и есть, все так говорят, шепотом, когда я не слышу. Стекло тряслось и дрожало под костяшками пальцев. Фляжка с чеканным тигром, Пашкин, между прочим, подарок, и вещь, несмотря на то, что Пашка козел и всегда козлом останется, еще плескалась в такт колесного перестука, но уже почти ничего не весила в ладони. Двое студентиков, соседей по купе, четвертый час курили в тамбуре, а квадратная тетка забилась на свою верхнюю полку и лежала там смирно, зубами к стенке, убедительно имитируя свое отсутствие — не только тут, но и

вообще в бренном мире, который от этого лишь выигрывал. Мне, по крайней мере, он определенно начинал нравиться.

Лес. Дробный ритм темно-коричевых стволов сквозь листву. Золото, охра, умбра, багрянец, лимон, и всегда облетает быстрее, чем успеваешь отнять, всегда уходящая натура, я ненавидела бы осень, если б не так нечеловечески красиво. У самой насыпи — шляпка гриба из-под листьев, казалось бы, нереально разглядеть на такой скорости, а успеваешь: я давно догадывалась, что время совсем не то, чем оно притворяется. Прижаться лбом к стеклу, и вибрация на удивление послушно и быстро попадает в такт биения пульса. Вырвалась, вырвалась. Не догонят.

Мятая морда проводника в дверной щели, совершенно лишняя, диссонансная, да как он посмел, сволочь, скотина, вломиться, нарушить, его вообще не должно быть!!! Схватить с дрожащего столика подстаканник — и в морду, в серую небритую мерзость, почти без размаха, но вложив в бросок истовое усилие полета, злую и яркую страсть, от которой плывет в глазах, подкатывает к горлу, сотрясает все тело. Конечно, слабо, недостаточно, не по-настоящему: настоящего он и не стоит. По-настоящему пробивает последнее время все реже.

Кажется, промахнулась. На стертом купейном

коврике сверкают осколки и валяется ложка, подстаканник закатился неизвестно куда, проводницкая морда исчезла и вряд ли появится снова, и курящие студенты тоже. Тетка на верхней полке лежит бездыханно, как труп.

Я присела, откинула голову на мягкий красный валик вдоль стенки купе, прикрыла глаза. Все будет хорошо. В промежуточном состоянии, когда уже не здесь и еще не там, сама понятия не имеешь, где, поверить в лучшее не то что бы легко — в принципе возможно. Колесный ритм: все-бу-дет-хо... и проникаешься, поддаешься простейшему гипнозу, веришь, как последняя дура. Все любят поезда, ни разу не встречала человека, который не любил бы, а впрочем, разве я общалась когда-нибудь с нормальными людьми? А съемочная группа в поезде — это мгновенная оккупация столика разнокалиберными емкостями из десятка мужских волосатых рук, и домашняя курица от хозяйственной гримерши, и формальная шоколадка от ослепительной недозвезды, и, как всегда, забыли одноразовые стаканы, кому-то идти побираться к проводнику, вот разомнемся красненьким из горла по-братски, по кругу, и разыграем в бутылочку. А потом все говорят одновременно, кричат, придумывают, обсуждают, спорят — и всё придуманное гениально, все оспоренное неоспоримо, и ночь не начинается никогда, как не

кончается припасенная выпивка... Да, а в Пашкиной фляжке ничего уже, по-моему, не плещется. И день. И осенний лес за окном.

Или все-таки выяснить, куда?...

Ленивая мысль долго бродила по кругу, в обход неподъемной головы, прорастающей волосами в дерматиновый валик. Лишняя, как червяк внутри спелого яблока. Постепенно стала невыносимой. Надо, надо. Никто не знает, никто не отследит, но я-то должна быть в курсе, иначе глупо вообще.

Встала, вышла из купе. В коридоре попались студентики, шарахнулись, брызнули в разные стороны, будто котята из-под асфальтового катка, один прилип, распластавшись, к окну, другой сгинул неизвестно куда. Несколько шагов по вздрагивающему вагону, купе проводника, и заклинило, черт, черт!!! Ручка едва не осталась в руке, когда створка, наконец, поддается, он сам открыл. И тоже отшатнулся с паникой в глазах, проглотив заготовленный мат.

— Куда мы едем?

— Ммм?!..

— Куда мы едем?!!

Отвечает скороговоркой, неразборчивой, как объявления на вокзале. Ничего, допустим, поняла. Когда мне нужно, я все понимаю.

— А сейчас где?

— Что?...

— Какая следующая станция?!

Называет. Большой город, областной центр, оттуда родом каждый пятый, и даже муж Таньки Самсоновой, если я правильно помню. Запросто — случайная встреча, знакомые общих знакомых, кто-то узнает, кивнет, окликнет, информация пойдет с нарастающей скоростью взрывной волны — и так будет, потому что все, что может случиться, случается непременно, катализированное силой твоего же неприятия и отвращения. Не пойдет. Не здесь.

— И раньше нет ни единой станции?

Спросила спокойно. Так, что ему стало по-настоящему страшно.

— Есть, конечно, — залепетал быстро-быстро, пришепетывая, — вот, например, через семнадцать минут Поддубовая-5, только поезд там не...

— Остановите, я сойду.

Развернулась и вышла, не дожидаясь ответа, никого не убив напоследок. Остановит, куда он денется, сам рванет стоп-кран, только бы избавиться от меня как можно скорее. И купе, вагон, да весь поезд хором вздохнет свободнее, как только меня не станет, так было всегда и везде, и лучшее, что я могу сделать для обитаемого мира — это устроить так, что меня в нем не будет. Милость с королевского плеча. Красивым широким жестом,

как падает на землю шелковый шарф или разлапистый кленовый лист.

В купе уже не было никого, тетка воспользовалась передышкой и слиняла, как оживший труп, туда ей и дорога. Моя длинная сумка с ремнем, купленная сто лет назад в Париже, живет по законам пятого измерения, в нее помещается всё, а на вид и не скажешь. Схватить с полки и бросить на плечо; но ведь еще семнадцать, пускай пятнадцать минут, рано, жди, — бывает ли что-то невыносимее ожидания, чем короче и нелепее, тем тяжелей и бессмысленней? Если б сейчас заглянул в купе проводник или кто-нибудь из попутчиков, меня бы, наверное, по-настоящему пробило. Но никто не заглянет, вот и замечательно. А может быть, удастся что-нибудь с собой сделать, и пробивать больше вообще не будет. Никогда. И к лучшему, потому что оно давно бесплодно и лишено всякого смысла.

В окне мелькали стволы и листья, и темно-зеленые вкрапления елей и сосен, и ни малейшего признака человека — она совсем маленькая, наверное, эта станция Поддубовая-5, а ведь могут и проскочить, не сделать остановки. Правильнее будет ждать у выхода, возле проводницкого купе, не давая забыть о себе или понадеяться на пощаду. Распрямила плечи, поправила сумку, сделала резкий разворот. Прямо

на зеркало.

Мое лицо внезапно — не для слабонервных.
Не для меня.

Усмехнулась навстречу хищному носу и рубленным скулам, и глазным ямам с черным огнем на дне, и сведенным в изломанный мост совиным бровям, и кинжальным насечкам на щеках. Стала похожа на усталую женщину — а если чуть повернуться в полупрофиль к свету, то и красивую, я всегда умела выгодно выставлять свет. Коротким движением отбросила назад гриву, мою жесткую чернобурку, поседевшую еще до тридцати, непроглядную соль с перцем, которую стоит только начать красить, чтобы признать безоговорочное поражение в моей войне против всего и всех. Не дождетесь. И не догоните.

Проводник предупредил о краткости стоянки, еще о чем-то предупредил, он все бормотал и бормотал, будто рассчитывал заговорить смертника с бомбой, страшную болезнь или бурю. Я привыкла, что меня все ненавидят и боятся, я сама все для того делаю, вернее, оно получается само, без осязаемых усилий. Пускай. Это гораздо лучше, чем когда просто ненавидят.

Поезд рванулся, дернулся, встал. Проводник потерял равновесие, взмахнул руками, за приотворенной створкой его купе с жестяным грохотом посыпались на пол подстаканники. Лес в

окне поредел, расступился, впуская в себя занозу
низкой постройки под шиферной крышей.

Станция Поддубовая-5.

— Маринка хорошая. Только
она звереет.

— Как звереет?

— Как зверь... зверюшка.
Девочки зверюшки, да? Кричит, и
царапается, и все ломает, игрушки
даже, и машинку зеленую. И кусается
еще!.. Вот. Зубы!

— Ничего себе! Больно?

— Не-ет. Раньше было, а сейчас
зажило почти.

— А почему она?... за что?

— Просто так. Позверела.

— Из-за чего?

— Не помню...

— Алла Николаевна, и такой
вот ребенок ходит у вас в группу
вместе с нормальными детьми?

— Я неоднократно поднимала
этот вопрос. Но там мать-одиночка,
льготная категория, вы же понимаете.
Необходимо медицинское
освидетельствование, вывод
комиссии, а никто не хочет брать на
себя ответственность... и видели б вы

ту маму, несчастная женщина...

— Очень может быть. Но я не допущу, чтобы мой ребенок, чтобы все другие дети... Вы доиграетесь до подсудного дела! Я требую: эта девочка не должна больше посещать коллектив! Иначе...

— Маринка хорошая! Она придумывает! Мы играли в страну, там города, и речка, и море, и машинки, и солдатики танцевали! А она была волшебница, и замок строили еще! В песочнице! Во-о-от такойский! Я не хочу, чтоб она не посещала!! Не хочу-у-у!!!

* * *

Там, где есть станция, должны быть и люди. Иначе никто бы не строил. Простейшая, в один шагок, логическая цепочка. И просека в лесу: две разбитые колеи, топкие, залитые дождями, приподнятая подиумом вязкая середина между ними, все присыпано толстым лоскутным слоем упавших листьев — никто здесь уже целую вечность не ездил и даже, наверное, не ходил пешком. Но ведь куда-то она все равно ведет. Она здесь одна, и это значительно упрощает выбор пути

и маршрута.

Когда идешь по пружинистым листьям, чуть заметная вибрация в подошвах передает упругую полетность походке, скорость нарастает по спирали, естественная, как ветер. Никто не мог ходить со мной по лесу, разве что Яр с его балетным вышолом и безразмерными циркульными ногами, но когда это было, — а так все отставали, начинали материться и шумно дышать, возникать и нарываться. Но те леса, по которым мне приходилось бродить, быстро пасовали и сдавались, подбрасывая трассу, высоковольтную линию, забор частных владений, проплешину базы отдыха. Этот выглядел настоящим, способным не кончиться никогда. Возможно, так оно было бы лучше всего.

Просека постепенно сузилась, потемнела, почти перестав пускать небо сквозь встречные ветви над головой. А ведь здесь уже, пожалуй, не пройдет и тем более не развернется никакая машина. Постройка на станции, с которой я проводила вдаль посвистывавший с облегчением поезд, оказалась обманкой: шиферный лист лежал на двух с половиной полуразрушенных стенах, перфорированных насквозь, будто край киноплёнки. Руины, поросшие желтым лишайником. Ни единой непристойной надписи, да и вообще никакой. Ни мусора, ни битого стекла. Подошва стоптанного ботинка валялась в углу

единственной уликой, что здесь все-таки ступала некогда нога человека.

Но с призрачной станции шла в лес вот эта просека и, по человеческой логике, должна была куда-то вести. И вот пожалуйста: она тоже оказалась из породы призраков, ложных путей, какими моя жизнь всегда была пронизана во всех направлениях, словно сосудами с отравленной кровью. По большому счету, ничего удивительного.

Просека тем временем уже превратилась в дорожку без всяких колея, скоро она истончится до тропинки, все более узенькой, будто исток реки, а там и потеряется в подлеске, уйдет под землю. И дальше я пойду уже сквозь лес, напрямик, а вернее, петляя, пугая следы. Не найдут. Теперь уж точно не найдут и не догонят.

Под сомкнутыми влажными кронами все больше меркло, мглилось, проползало промозглым холодом под свитер; с ума сойти, плащ-то остался в купе, надо ж было только сейчас спохватиться. Свитер толстый, верблюжий, авторская работа Галки, вечно вяжущей тихой нашей костюмерши: огромная, в три отворота, горловина колется в подбородок, на груди сложный орнамент по мотивам цифири маяя, подол, кольчатый, словно кольчуга, спускается чуть не до колен, а рукава намного длиннее моих рук и тоже подвернуты втрое. Но все-таки свитер — и ноябрь. А

внутреннее топливо из фляжки с тигром уже выветривается, теряет горячительную силу и остальные свойства, господи, да неужели ж я протрезвею раньше, чем куда-нибудь приду? Вот так остановлюсь посреди леса — и задумаюсь, к примеру, о будущем?...

Тропинка — давно уже тропинка — поступила куда хитрее, чем я предвидела. Не исчезла, а наоборот, раздвоилась ласточкиным хвостом, вильнула в разные стороны, оставив на перепутье живописное бревно с черной отставшей корой и бесчисленной порослью мелких грибов, ярко-желтых, ядовитых наверняка. И тут же, по совпадению или команде, оборвалась легкость моего полета, словно испустила дух на глазах горемыки-изобретателя очередная несовершенная модель вечного двигателя. И все равно непонятно, куда идти дальше, и в принципе невозможно куда-либо идти.

Перекинула ногу, села верхом. В детстве, в юности, да и совсем недавно любое бревно подо мной легко превращалось в лошадку или оседланного дракона. Теперь — остается бревном, и уже ничего не поделаешь. Собственно, это и есть самое страшное из всего, что со мной случилось, чему я сопротивлялась в кровь, с чем билась на разрыв, из-за чего в конце концов и оказалась здесь; остальное — пена, плесень, грибная поросль с

запахом гнили.

Лес молчал. Беззвучный шелест влажного листа, шорох притихшего ветра, падение одинокой капли. Эти звуки надо усиливать, вытягивать на звукооператорском пульте, чтобы они проявились, обнаружили свою тайную жизнь, как бактерии на стеклышке микроскопа. Голая улитка ползет по шляпке гриба. Морщинистая кора впитывает сырость и, поскрипывая, все сильнее отстает от древесины. Личинка жука точит сердцевину каштана. Сгущаются сизые облака, собирается дождь.

И ни одной мысли, ни одного воспоминания, предположений и планов тем более никаких. Непостижимое, фантастическое состояние, слово для которого люди давно придумали, а значит, с ними, с другими, происходит, случается, бывает — и, наверное, часто. Покой. Когда никого и ничего не хочется изничтожить на месте, сокрушить и обрушить, и придумать, и взбудоражить, встряхнуть, гальванизировать, погнать вперед, заставить сделать хоть что-нибудь!!!..

Правильно же, покой?

Наклонилась вперед, оперла локти о мягкую кору; та, как губка, тут же отдала накопленную влагу, промочила насквозь толстые вязаные рукава. Подбородок на ладони, прикрыть глаза, оставить только звуки и запахи. Запахи куда сильнее звуков,

они, наоборот, преувеличены, заострены до предела: прелый лист, грибная сырость, холодная свежесть, дым далекого костра...

Дым?

Вскинула голову, огляделась по сторонам, раздувая ноздри, втягивая в них костерный запах, словно дорожку кокаина. Направление. Откуда?

Кустарник напротив, роскошный, сплошь усыпанный круглыми листьями, похожими на золотые монеты, затрещал, посыпался, раздался темной трещиной, выпустившей суковатую палку, потом корзинку и худенькую лиловую руку, и наружу выбралась девочка. Лет, может быть, девяти-десяти, или двенадцати, кто ее знает, да и почему, встречая где-нибудь детей, мы тут же начинаем прикидывать, сколько им лет?

Увидев меня, остановилась напротив, точно на биссектрисе угла расходящихся тропинок. Поправила козырек наползающего на лоб картуза и поддунула прилипшую прядь.

Долго, почти до провиса в хронометраже, мы смотрели друг на друга.

Затем она подошла ко мне вплотную, присела на корточки и принялась срезать перочинным ножиком с бревна желтые грибы.

Вам правда интересно? Вам

действительно нужно?

Познакомились мы лет семь назад, на одном проекте, сейчас уже и не вспомню, какое-то дикое мыло из жизни офисного планктона. Провалилось, кстати, с треском, но Марина-то ушла раньше, ее имени и в титрах не было... Пойдите, девушка, вру. Вам, наверное, как раз будет любопытно: мы же с Маринкой вместе в детский садик ходили! Недолго, месяца полтора, меня потом забрали оттуда, но я ее когда увидел, сразу узнал. Спрашиваю: детсад «Солнышко» в Академе? Она долго смеялась. Все допытывалась, как я ее вычислил, ведь знаете же, бывают люди, у которых детское лицо всю жизнь просвечивает, а она полностью изменилась, вы же, наверное, видели фотографии. Но вот так вот. Удивительно.

Значит, гнали мы жутчайшее мыло. Совершенно за гранью, потому оно сначала было стыдно слегка, потом весело, стебно, а затем просто перестало задевать совершенно: делаешь свой кусок работы и едешь домой. Что? А, я диалоги писал. И должен был отсиживать полный день

на съемочной площадке, потому что вечно ведь форс-мажор: то заболел кто-нибудь, то нужный реквизит не подвезли, то погода другая, и надо срочно все переписывать, адаптировать к обстоятельствам. А Маринку взяли вторым режиссером, на смешные деньги по сериальным меркам. Она была очень конкретно на мели, а они же сразу видят, сволочи.

Это уже потом просочилась информация, что у нее тогда мать умерла, причем буквально во время того скандала с «Мордой войны»: пускай вам кто-нибудь другой расскажет, не люблю передавать через третьи руки, а в общих чертах вы и сами в курсе. Но сначала никто не знал. То есть, про «Морду»-то знали, конечно. Косились с самого начала.

Ее никто не любил. И даже я.

Знаете, как она умела? Когда она появлялась где-нибудь, все окружающие проникались к ней сильными чувствами во всем диапазоне, но сильными непременно. Бывают такие люди, доминантные, ничего удивительного. Но Марина... К тем, кто ее сразу ненавидел, она и относилась адекватно, с ответной и,

главное, очень конструктивной ненавистью, в работе самое оно. А вот к тем, кто влюблялся в нее с первого взгляда, восхищался, стремился дружить и так далее, была по-настоящему беспощадна. Лучшие чувства пробовала даже не на зуб — на разрыв. Так, что действительно рвалось. Никто не выдерживал, ни один.

Конкретику ей... ладно, будет вам конкретика. У нас музыку писал один очень талантливый мальчик. Ну да, а кто, вы думали, пашет на таких вот проектах? Сплошь непризнанные гении, которым тоже, представьте, надо что-то кушать. И все они себе говорят примерно следующее: вот подзаработаю, поднакоплю, переживу трудные времена, а заодно потренируюсь в формате, даже прикольно, опять-таки, профессионализм лишним не бывает, связями обрасту — и тогда... Честное слово, не слышал, чтобы кто-нибудь из них пробился. Ну да ладно. Мальчик был смешной, с кучей сережек в ухе, вечно в каких-то невообразимых лохмотьях и всегда с гитарой. Постоянно тусовался на

съемках, хотя кому он там был нужен, композитор хренов, сдал свою музычку и гуляй. И во всех перерывах, провисах, когда группа на ушах, продюсеры орут, осветители с операторами бухают, — подсаживался к Маринке и пел ей свои песни. А песни у него... я никогда подобного не слышал, не после, ни до. Брал какие-нибудь всем известные, школьные стихи, чуть ли не «Чудное мгновенье» — и вытворял с ними такое невообразимое, почти на грани фола, но никогда не за гранью, органичное и прекрасное. Марина слушала. Ей нравилось, я видел.

А потом он исчез. Говорили, резал вены, говорили, подсел на иглу, черт, не записывайте, я принципиально не передаю сплетен. Но я сам видел — издалека — как она на него орала. Наверняка из-за какой-то мелочи, ерунды, она же непостижимо легко срывалась с катушек, и когда срывалась по-настоящему, это было очень страшно. У нее делались такие глаза... один раз при мне молоденькая гримерша реально упала в обморок от ее взгляда, или от криков, не знаю.

Вполне здоровая девушка. Она уволилась потом, это было уже, кажется, на «Студии-плюс», если я правильно помню.

Что мальчик? Встретил я его не так давно. Да нет, заметно живой, лысый, с вот таким брюшком. Мобильные телефоны продает. Может, оно и к лучшему, разве ж я спорю?

А с того проекта Марина ушла со скандалом, она по-другому ниоткуда не уходила. Продюсер потом пояснял, мол, некоторые пробовали тянуть профессиональный продукт, ориентированный на зрителя, в сторону мутного артхауса. На самом-то деле она ни в какой артхаус наше мыло не тянула, это было в принципе невозможно — просто пыталась придать ему хотя бы малейший смысл. Добиться от актеров естественных интонаций и реакций, не больше, от сценаристов связной структуры, а от диалогов... К диалогам у нее тоже были претензии, да. И я переписывал; не знаю, как другие диалогисты. Но я-то старался, и потому ко мне она придиралась больше всех. Издевалась, глумилась,

припоминала то и дело детсад, я уже не рад был, что сказал ей тогда, при первой встрече...

Кстати, у меня даже фотография сохранилась в детском альбоме. У нее, наверное, тоже такая была. Не видели? Подождите, сейчас принесу, покажу... Вот. Меня-то вы сразу узнаете, все меня узнают, наверное, мало с тех пор изменился. А она — вторая слева в первом ряду. Правда же, какое чудо?

* * *

— Меня зовут Марина. Я хотела бы остановиться у вас переночевать.

Старуха глянула коротко, без интереса. Перед ней стояла громадная корзина каких-то сухих ягод или, может, орехов, а справа миска, куда она сбрасывала их, отсортированные и очищенные от листьев, черенков и шелухи. Увлекательное занятие, было бы странно, если б я сумела составить ему достойную конкуренцию. Старухины руки ни на миг не прервали движения, а глаза, безразлично скользнув по мне, вернулись контролировать его, хотя что она там видит в этой темени...

Все это, конечно, раздражало, должно было вот-вот вывести из себя — закричать на запредельном звуке, опрокинуть корзину, схватить за плечи, встряхнуть, заставить!!! — но почему-то все не выводило, не пробивало, даже удивительно. Осмотрелась получше по сторонам: в густеющем полумраке темнел проем за старухиной спиной, светилось единственное окно в низком срубе, громоздились один на другой элементы бестолковой постройки, явно не раз и не два расширенной и дополненной, словно академическое издание научного труда. Все равно же я буду здесь ночевать, куда деваться ночью в лесу. Остальное — мелочи, несущественные детали.

Девочка сказала несколько слов на совершенно чужом, неродственном языке. Старуха отозвалась недлинной фразой, в которой я уловила девочкино имя — Тарья. Тарья, а не Дарья, как мне показалось там, в лесу, а выговор у нее и правда не наш, не померещилось. Какое-то иноплеменное поселение, любопытно будет присмотреться поближе. Завтра.

— Отс, — произнесла старуха. — Отс.

Призывной интонации в ее голосе не было. Любой зов предполагает долю неуверенности в том, что услышат и придут; я всю жизнь орала на съемочной площадке, рывкала грозно и надрывно, вечно забывая усилить громкоговорителем голос...

Она знала точно. Прошла минута-полторы, не больше, и возник мужчина, худой и темнолицый, он мог быть ей и мужем, и сыном, и отцом. Девочка что-то втолковала уже ему. Старуха кивнула, не прекращая сортировать свои ягоды или орехи.

— Идемте, Марина.

Это сказал Отс, и я вздрогнула: не было его рядом, не слышал он моего имени — а впрочем, услышал же свое, мало ли, почему бы и нет, неизвестно же, где он находился до сих пор и что у них тут с акустикой. Поправила ремень сумки на плече и двинулась за ним: кажется, вопрос с ночевкой решили, и слава богу. Старуха осталась на месте, при корзине, а девочка вообще исчезла, растворилась в сумерках. Прошелестел ветер, и невидимый огромный лес вокруг напомнил о себе штормовым шепотом. Какое хорошее, правильное место. Внутреннее, самодостаточное, недоступное. Не догадаются, не найдут.

В тени построек сгустилась совсем уж непроглядная темень, все равно что завязали глаза, и несколько поворотов, и не успеваешь сосчитать, и спотыкаешься на внезапных приступочках под ногами, и хоть бы где-нибудь огонь. Скрип невидимой двери и призрачный отсвет от окна, в котором обозначились серебристым контуром резкая скула и рубленый нос хозяина:

— Это здесь. Располагайтесь, Марина. Иллэ

принесет светильник и постель.

Голос у него был глухой и ровный, с неожиданно интеллигентскими интонациями и почти неуловимым акцентом. Если его расспросить, этого Отса, он, конечно, расскажет в скрупулезных подробностях, кто они такие, какого роду-племени, почему здесь живут и как общаются со внешним миром. Так мы и сделаем, но завтра, сегодня мне слишком дорого это ощущение тайной щели, затерянного мира-капсулы, странного, спрятанного, непостижимого.

Он ушел. Я бросила на пол сумку и в ожидании обещанного светильника ощупью опустилась на кровать — твердую, низкую. Склонила голову и несколько минут просидела неподвижно, утопив пальцы в спутанных волосах, массируя виски. Голова по вечерам болит всегда, это данность, я давно привыкла и воспринимаю эту боль как неперемный компонент усталости, не больше. День был не из легких, что и говорить. Ведь еще с утра, каких-то двенадцать часов назад, я даже не знала точно, все ли потеряно. Теперь знаю, и это главное изменение, произошедшее за сегодня с моей жизнью.

Старуха Иллэ со светильником все не появлялась, да она и не придет, пока не переберет до конца свою бездонную данайдскую корзину. Я опрокинулась набок, потом подобрала ноги и, не

разуваясь, вытянулась на жесткой кровати. Хорошо. Не надо больше двигаться, шевелиться, что-то решать, с кем-то договариваться, на кого-то орать, отвечать за кого-то, в том числе и за себя саму. Вся невероятная тяжесть запросто сброшена с плеч, как парижская сумка, в которую помещается все необходимое, да и лишнего немало. С лишним они вполне управятся без меня: переживут, свернутся, сдадут технику, рассчитаются за аренду и закроют недостачу, Люська давным-давно научилась подмахивать мою подпись. Собственно, суетиться и разыскивать меня будут максимум дня два-три, потом успокоятся, отвлекутся кто на что и забудут.

Если совсем уж откровенно, я никогда никому не была нужна. Это все они были нужны — мне, я тасовала их как хотела, и строила, и заставляла подчиняться, и добивалась нужного — мне, кому же еще? — результата, а потом брала других, и тоже заставляла, строила, добивалась... И всегда — мимо. Не совсем в молоко, близко, еще чуть-чуть; но все-таки не в яблочко, где-то рядом, а в нашей работе, как в хирургии или в оригами, признается и принимается только абсолютная точность. А иначе приговор: не цепляет. Заслуженный, что уж теперь говорить... И еще вечное ощущение сродни фантомной боли или предчувствию любви: вот-вот, в следующий раз, сойдется, совпадет, зацепит, уколет кончиком иглы в нервный узел, непременно,

иначе и быть не может!.. Может, чтоб ты не сомневалась. Возможно абсолютно все. Именно по этой причине и нет никакого смысла каждый раз замахиваться на невозможное.

Жалко только девочку, Юлю, она же и правда светилась. Светится. Но далеко не факт, что кто-нибудь еще разглядит, кроме меня. Хотя, с другой стороны, то, что видно мне одной, возможно, и не настоящий свет...

Внезапно свет погас повсюду, во всем обитаемом мире, потух тот рассеянный сумрак, который раньше и в голову не приходило принимать за свет. Наверное, там, вонне, коротко и обыденно выключилось то единственное окно. И никакой луны, никаких звезд сквозь плотный занавес туч. Ни фонарика, ни свечи, ни зеленых цифр на циферблате, ни светлячка в лесу. Конец света. Можно спокойно закрывать глаза, потому что все равно ведь никому не спастись.

Спи, маленькая.

Моя ноченька, мое солнышко,
моя черная жемчужинка.
Самый-самый красивый сон, как мы с
тобой договаривались... Не
раскрывайся, хорошо? Нет, я не
ухожу. Спи.

Да, кажется, уже. Только тихо, а

то если разбудишь, потом уже не заснет. На нее иногда накатывает вот так, прямо среди ночи... Нет, скорую не вызываю, зачем? Они тоже ничего не могут, только вколоть успокоительное, а я как-то сохранила ампулу и посмотрела потом в справочнике — ужас. Детям вообще нельзя такое колоть! Они же ничего не соображают, они сами боятся, им лишь бы заглушить наповал, даже дозу не рассчитывают, так и вгоняют целую ампулу. Представляешь, Мариша раз извернулась, выдернула у этой тетки шприц и воткнула ей в ногу, сквозь халат, сквозь колготки, или что там на ней было надето, всю иглу целиком! Пришлось дать десятку, чтоб уехали. Мы потом до зарплаты одну гречку варили. Хотя в садике вроде бы нормально кормят... она у меня все ест, солнышко.

Ты ее рисунки видела? Посиди, сейчас принесу. Дверь придержи, вот так, чуть-чуть, чтобы щель... Вот, смотри. Правда же, здорово? Правда? Но это надо вместе с ней смотреть, она про все рассказывает. Здесь же на самом деле не картинка, а целая история, в развитии, с персонажами, с

историей каждого, как сундучок в сундучке, понимаешь? Вот это, я запомнила, удивленная бабочка. Она удивилась, потому что впервые в жизни увидела дракона, который отдыхает на пляже. Дракон вот, в уголке, он еще маленький и застенчивый, и он умеет строить замки из песка. А у бабочки дома трое детей, мальчик и две девочки, или наоборот, забыла... Все время что-нибудь придумывает! Никогда не могу у нее добиться, чтобы рассказала, чем они занимались в садике. Ей неинтересно просто вспоминать и пересказывать. Выдумывает, сочиняет каждую секунду какую-то другую, отдельную жизнь. Она так живет.

А он что?... ничего он. Я ему написала тогда, все равно не ответил, не надо было писать. Может быть, и не дошло, теперь-то какая разница. Нет, Мариша совсем на него не похожа. И на меня не похожа, я знаю, она вообще другая. Да, брюнет, но у него-то глаза... слушай, а я ведь не помню уже, какие у него были глаза. Правда, забыла. Когда он уходил, стекло еще запотело, ноябрь, на улице

холод, и я протерла рукой брешь полукругом, как радуга. Смотрела, а оно медленно запотевало вновь. И всё. Как не было ничего. А потом — Мариша.

Наследственность — это важно, я понимаю, могло и через поколение передаться, наверное, ты права, надо написать. Только у меня адрес шестилетней давности. Но я попробую.

Это не болезнь, ну как вы не понимаете, и ты, и все?! Ни к какому психиатру я ее не поведу, на учет не поставлю. Когда на нее накатывает... ну как бы тебе объяснить...

Тихо! Ты слышала, она или показалось? Пойду гляну, а то проснется, увидит, что меня нету, а я же обещала не уходить... Все время я ее обманываю. Мне кажется, она вообще давно уже никому не верит. Никому-никому.

Маленькая, ты спишь?...

* * *

Это оникс, детка.

Вода в пруду была матовая и черная,

пузырьки воздуха поднимались из глубины и порождали маленькие концентрические круги, на которых едва заметно покачивались желтые вкрапления плавающих листьев. Я нагнулась, подобрала шершавый камешек или, может, орех, не успела понять и глянуть — и на поверхности разошлись уже серьезные широкие круги, переливаясь, отражая небо. Можно смотреть вечно. Я, наверное, так и сделаю.

При свете дня поселение должно было показаться будничным, а оказалось еще более странным. Проснувшись, лежа ничком одетая на лоскутном одеяле, я первым делом начала искать глазами окно, источник сероватого, но достаточного света — и даже его нашла с трудом, потому что мое окно смотрело створка в створку в другое, наглухо запечатанное ставнями, и этих ставен можно было запросто коснуться, не разгибая локтя. Кроме лежанки и низкого сундука, в комнате не было ничего, ну разумеется, умываются здесь где-нибудь во дворе — всплеск раздражения, неравновесно вялого, никакого — и распахнутый дверной проем: куда дальше?

Постройки нагромождались друг на друга без всякой системы, лабиринтом, из которого я едва нашла проход на открытое пространство. Постоянно попадались всевозможные предметы неясного назначения, нелепые, внезапные. То

высоченная, в человеческий рост, корзина, то миниатюрная повозочка на резных колесах, то целая связка толстых, перевитых лозой палок — посохов? — то сундуки и сундучки, сложенные один на другой китайской пирамидой, шаткой на вид, то связка каких-то веревок петлей поперек дороги... А со всех сторон подступали углы и стены, криво, косо, под наклоном, готовые сдвинуться еще чуток, накрениться, схлопнуться — и все. Я лавировала между ними, пытаюсь припомнить, какой дорогой вел меня вчера хозяин по имени Отс — Отс же, правильно?... а хозяйку зовут Иллэ, и еще здесь есть девочка Тарья, Таша, видите же, я все помню, — но выхода никак не находилось, и мимо вот этой корзины я, кажется, проходила уже...

Свернула за угол — и вышла к пруду. Черному, гладко-матовому с неуловимым движением расходящихся по воде кругов, очень похожему на камень оникс, осенний оникс. В моем саду камней непременно будет точно такой. Единственное, что сада камней у меня никогда не будет, бывают мечты из разряда несбы瓦ющихся — в принципе, по определению, так задумано. Лежит себе на периферии сознания и памяти, на границе слепого пятна, то скрываясь за горизонтом, то показывая золотистый краешек, и понимаешь, что никогда, — но если б не оно, было б совсем уж

невыносимо жить.

Мой сад камней. Когда все более-менее хорошо, когда есть близкая цель и ускользающая победа, я о нем, конечно же, не помню. Только если в который раз обвалилось, рухнуло, разбилось вдребезги, а если подумать, то и не существовало ни разу на самом деле. Ведь каждый раз новая задумка всерьез кажется гениальной, а все, что происходит потом — цепочкой неправильностей, нестыковок и неувязок, из-за которых погрешность нарастает в геометрической прогрессии. Виноваты исполнители, в нашем деле их слишком много, виноваты начальники, их еще больше, виноваты обстоятельства, всегда вероломные и непредсказуемые: вот если бы сразу, из головы — и на широкий экран... Но и это, как правило, ложь, иллюзия, самообман; неточность всегда имеется в самом начале, червоточина сидит уже в идее как таковой, в синопсисе, блуждающем по студиям, в заявке на столе у продюсера, в твоей собственной голове, только признать это куда больнее и обиднее.

А сад камней — есть. Независимо ни от чего. Он просто есть, совершенный, прекрасный. Пускай его и не будет никогда.

Круги от брошенного камешка разошлись, сглаживаясь, к самым берегам, вода снова стала неподвижной, еле заметно тревожимой изнутри

пузырьками неизвестно чьего дыхания либо разложения. Скользнул по невидимой ряби случайный лучик, на мгновение проявив ее, словно пленку — и тут же исчез, и снова матовая чернота. Желтые листья тихо лежали на воде, распластавшись, торжественно подняв черешки. Наверное, я вышла из поселения в другую сторону, ведь там, откуда пришла вчера, не было никакого пруда. Возвращаться или попробовать обойти вокруг?

Лес обступал линию пруда, огибая его золотым разомкнутым полукольцом. Сделав несколько шагов вдоль воды, я уперлась в неожиданно плотную, непроходимую стену. Кустарник, издали похожий на пестрое покрывало, щетинился из-под декоративных листьев острыми игольчатыми веточками, густыми, как частый гребень, древесные стволы сплошь заплетали сухие плети ежевики и дикого винограда, не оставляя прохода или даже просвета. Вот это лес. Настоящий, без чисто человеческих уступок вроде щедро посыпанной листьями дороги-колеи неизвестно откуда и черт знает куда. Такой лес я, пожалуй, понимаю, и даже слишком хорошо. Он не пустит. Я бы на его месте не пустила.

Пришлось снова идти по лабиринту нелогичных построек и непонятной утвари на грани фола. С опозданием удивила тишина: в таком

маленьком мирке каждый звук, по идее, должен распространяться по радиусу всего поселения. Чем они, местные жители, занимаются с утра?... наверное же, работают, а любая работа предполагает шум. Прислушалась: ни жужжания, ни шороха, ни стука. С другой стороны, по их меркам уже, наверное, давно не утро. А я еще не умывалась, между прочим.

Завернула за очередной угол, готовая к длинной веренице пристроек, петляющих среди перекошенных стен — и вдруг вышла на вчерашний двор. Точно такой же, если не считать освещения. Старуха Иллэ сидела в дверном проеме, ритмично запуская морщинистую руку в корзину и роняя в миску отсортированные и очищенные от шелухи орехи. Ее не отключали с вечера, это совершенно точно.

Я умею быть приветливой, почему бы и нет, а если кому-то подобное кажется категорически невозможным, так они плохо меня знают, эти кто-то. Могу улыбаться во весь рот, почти не напрягаясь, искренне и дружелюбно:

— Доброе утро.

Старуха продолжала свое монотонное движение, казавшееся скорее инстинктивным, чем разумным, вроде работы пчел или муравьев. В двух ее длинных седых косах, спускавшихся куда-то за корзину, проглядывали черные нити, словно на

негативе. Коричневое сморщенное лицо ритуальной маски с тонким кожаным шнурком сложного плетения поперек лба. А одета, между прочим, в старый спортивный костюм: растянутый ворот, пузырястые треники... Типаж. Уважаю по-настоящему яркие типажи: такая внешность не бывает имманентной, за ней всегда скрыта биография. Правда, далеко не всегда достойная уважения — но все-таки. За массовку у меня таким платят, как за эпизод, это мое условие, жесткое, иначе я не работаю.

Глухая, что ли? На полтора тона выше и громче:

— Доброе утро, Иллэ!

Опять не отозвалась, и вправду глухая, как лесная коряга, запрограммированная лущить и перебирать орехи, и так целую жизнь, боже, а ведь, пожалуй, трудно придумать более трагичную судьбу. Я передернула плечами, и это вместо того, чтобы встряхнуть, заорать, докричаться, у меня строились в линейку и куда более непробиваемые пни, хотя бы лесовики из «Морды», немые, безглазые и вооруженные до гнилых зубов, неприступные, начисто лишённые разума и полные до краев первобытной гордостью, как и их дикие горы... И ничего — договорилась. Сняла. В тот очередной раз, когда казалось, что вот оно, попадание, наконец-то в цель, в кровь, на разрыв —

а оказалось, снова мимо, обманка, чертовы черепки. Но то было давно, и я пережила. Все можно пережить и выжить.

Старуха вскинула глаза. Как будто только что, а не две минуты назад, услышала свое имя. Глаза у нее были тусклые, бесцветные, совершенно никакие.

Посмотрела. Вернулась к своей корзине.

Так. Бесполезно.

— Иллэ, где Отс?

На его имя она среагировала — коротким глотком, дрожанием век. И никак больше; но прокололась, дала себя поймать, и теперь уже не сможет и дальше прикидываться глухой, не выйдет. Мне надоела зыбкая поэтичная загадочность, я хочу конкретики, информации, определенности, я никогда не умела без этого жить, не признавая компромиссных недомолвок и спасительной лжи, куда более безжалостная к себе самой, чем ко всем другим, хотя им тоже обычно хватало. Ну так я жду. Где?

— Отс, — снова с длинным опозданием повторила старуха. Негромко, без сомнения и зова. Он сейчас придет, как приходил вчера. Здесь, наверное, все всегда повторяется, прокручивается по кругу, закольцовывается в дежа-вю. Они так живут.

— Здравствуйте, Марина.

— Отс, — я развернулась на сто восемьдесят градусов, вложив в разворот силу нарастающего раздражения, почему-то не доставшегося старухе. — Где вы ходите? Где у вас тут умываются, где клозет, можете показать?!

Мужчина с темным лицом, при свете дня еще более морщинистым, даже узловатым, словно больное дерево, спокойно кивнул:

— Да, конечно, — безупречная корректность английского дворецкого в энном поколении. — Идемте за мной.

Не так просто. Мне все-таки удалось завестись, пускай слабо, с пол-оборота и, видимо, настолько же — однако знакомое, единственно родное и самоценное ощущение уже промыло сосуды горячим и пенным, бурлящим, стремящимся наружу, словно пузырьки искристого газа. Пора бы навести здесь порядок, разобраться в целом и в частности, застолбить расстановку сил, чтобы дошло, чтоб знал, в конце концов!!!

Он уже шел, и я шла за ним, плелась хвостом, как на привязи, брела, куда ведут. Постепенно опадала игристая пена в крови, не выплеснувшись, не достигнув края. Когда-то — и не один раз — меня пытались учить добиваться именно такого эффекта: вдохни поглубже, сосчитай до десяти, медленно выдохни, а не пошли бы вы все?! Со мной пробовали по-разному. Ласково увещевали

вполголоса и заговаривали медитативным полупшепотом, орали вдвое громче, отборным матом, угрожали, трясли кулаками и перли корпусом, и все обламывались, как один, потому что были априори слабее, потому что никому — слышите? — ни единому человеку на свете нечего противопоставить той самой, будоражащей и пенной, поющей в ушах скоростным свистом, пробивающей насквозь силе, о которой я сама ничего не знаю, кроме того, что она у меня есть. Была. Всегда была, сколько я себя помню, а теперь...

Отс посмотрел через плечо, скривил коричневые губы в снисходительной улыбке более сильного. Никакой он не сильный, это я слабее него, слабее кого угодно, потому что в конце концов должно было так случиться, иссякнуть, высохнуть до дна. Мне сорок два, не будем забывать. В этом возрасте такие, как я, все равно так или иначе кончаются.

— Забыл сказать вам, Марина, — мягкий убедительный голос, словно начитавший сотни лекций по гуманитаристике в иностранных университетах. — Я был с утра на станции, вам пришла посылка. Потом зайдете ко мне, отдам. Умывальник и туалет у нас тут.

...Жестянка на гвозде, приколоченная к дощатой двери с сердечком насквозь, а по ту

сторону, конечно, круглая дыра в полу. Открыла, поморщившись от невыносимого скрипа и запаха навстречу. Все как и предполагалось, в рамках стилистики жанра. Хоть что-то — в них.

Упала металлическая капля. Оглушительно, будто контрольный выстрел.

Оникс — это у нас разновидность халцедона с тонкой плоскопараллельной полосчатостью. Не буду я повторять, не ври, ничего ты не записываешь. А мне, между прочим, нравится про полосчатость, ты вслушайся, как звучит, практически стихи. По-гречески «оникс» — ноготь, и, думаю, своя логика в этом есть: ну-ка, покажи ногти... ага, вот видишь. Похож на агат, но различается расположением полос, да и много чем еще, не спутаешь. Оникс полупрозрачен, сейчас я включу солнце, и ты посмотришь, как будет красиво на просвет.

Знаешь, а ведь от оникса не бывает ничего хорошего — только грусть, разлука, страшные сны. Впрочем, они же все равно есть, оникс там или не оникс. И лучше, когда вот

так. Отдельно, в своей специальной нише, на черном облаке, под стеклом. Здесь у меня всегда осень, ее тоже давно пора было отложить в сторонку, под отдельный купол. Никогда я не любила осень, ты же знаешь, но для оникса — самое оно.

Ну как, нравится тебе у меня? А ты думал! Ну давай, полетели дальше.

Глава вторая. Яшма

Надо сесть и разобраться. Подумать. Раньше, чем открывать.

Такие посылки я видела последний раз двести лет назад, в детстве — Мариша, скорее принеси ножницы! — они, посылки, приходили с единственного адреса, который я выучила наизусть и потом искала этот город на каждом глобусе, каждой географической карте, и находила всегда выше, чем начинала поиски, на самом краю крайнего-прекрайнего севера, за пунктирным пояском полярного круга. Там жила мамина родственница, тетушка или двоюродная бабка, я никогда ее не видела — только эти фанерные ящики, тяжеленные, перемотанные шпагатом в шоколадных медальках сургуча. С выведенным шариковой ручкой нашим адресом, маминым

именем, с обязательной припиской: «и Маришечке». Внутри были консервы, иногда вкусные, сгущенка или ананасы, изредка носочки или бантики для кос. Больше мне никто никогда ничего не присылал. Ниоткуда, чтоб уж завершить логический ряд.

Ящик лежал на спице толстеного ствола под открытым небом, еще свежего, янтарно-желтого, с четкими кольцами древесных лет. Фанера выглядела по контрасту куда более ветхой, сероватой. Обойные гвоздики по краю, шпагат крест-накрест, сургучная блямба. Мое имя — ФИО, все правильно — красивыми разборчивыми буквами под наклоном по зернистой поверхности, работников почты, видимо, специально обучают экстремальной каллиграфии. И адрес: станция Поддубовая-5.

Никто не знает, что я здесь. Нет, получается, кто-то знает. Даже не так: кто-то знал об этом гораздо раньше, чем я сама решила и решилась, чем заставила проводника остановить поезд и сошла на станции в лесу: такие посылки идут долго, ее должны были отправить как минимум несколько дней назад...

Бред.

Или фальшивка.

Давай думать. Прокручивать назад покадрово, словно свежееотснятый материал.

Вот звонок из министерства, все накрывается, объективно и бесповоротно, однако я отказываюсь принимать такую объективность, я готова драться, я сделаю все, что необходимо, и даже больше, и реальность изогнется, подстроится под меня, как это происходит всегда. Ору в трубку допотопного телефона с заедающим диском, такие сохранились только в вестибюлях провинциальных гостиниц, счастье и проклятие которых — внезапные съемочные группы на полмесяца натуры. И одновременный звонок на мобилу, Эдуардыч: все действительно пропало.

Нет, я еще могла бы кусаться. Могла бы выгрызть хоть маленький кусочек победы, с трофеем в зубах не так больно и страшно в который раз умирать. Но нет сил, нет сокрушительного гнева, не накатывает, не пробивает. На ничего не значащих полусловах опускаю обе трубы. Стоп-кадр.

Поехали дальше. Вокзал, билет куда угодно, побыстрее, подальше, что тут непонятного?! — ну разумеется, меня запомнили, уж меня-то запоминают все, везде и всегда. Теоретически, если кто-нибудь из группы бросился бы по моим горячим следам, ему выдали бы в кассе исчерпывающую инфу. До поезда оставалось минут сорок, могли успеть, пока я глушила тупую боль и мутный кофе в прокуренной вокзальной кафешке,

почему бы и нет. Могли взять билеты в соседний вагон — и отслеживать на расстоянии, что будет дальше. Жадно прислушиваться, перешептываться, гасить ладонью залпы гнусного хихиканья, прикидывать воспаленным глазом к скважине или щели, азартно строить предположения и делать ставки, мерзость. Но такой расклад практически все объясняет. Вопрос: кто?

Приподняла ящик со стола-спиля, взвесила в руках: легкий, не консервы с севера. Осмотрела придирчиво, особенно пристально изучая печати на сургуче и налепленную сбоку квитанцию — на вид все совершенно как настоящее, а номер почтового отделения и не должен мне о чем-либо говорить. Где оно тут, интересно, не в полуразрушенных же стенах так называемой станции... Впрочем, у местного Отса, если уж на то пошло, посылка не вызвала подозрений. Открываем? Если это привет от съемочной группы, брошенной на самовыживание, на произвол судьбы, потому что я уже не могла, не могла!!! — то там, конечно, какой-нибудь милый привет в той стилистике, на какую у них хватило чувства юмора и мести, одно не слишком-то отличается от другого.

Да, бросила. Они сами нарывались, они не стоили и не заслужили другого. Там, где надо было сплотиться, встать плечом к плечу и локоть к локтю, ошкетиниться штыками общего

сопротивления и общего дела, они — словно сорвали крышку с чайника — дали волю всему наиболее мерзкому и гнусному, что назревало давно исподволь, обседало изнутри, как пузырьки воздуха накаляющуюся перед кипением емкость. Вступила в активную фазу латентная война всех против всех, пружинно раскрутились тайные интриги, конфликты интересов и амбиций. Гадко и смешно. Как только прополз слухок, что финансирование по зарплатному фонду до сих пор не перечислено и вряд ли когда-нибудь будет, вся группа со зверским азартом ринулась перетягивать ставки и урывать друг у дружки съемочные дни. Прошел следующий слух, о грядущих сокращениях, сам по себе нелепый и бессмысленный, никакими сокращениями было бы, конечно, ничего не спасти, — однако прошел, и делом жизни каждого стало если не самому удержаться на плаву, то хотя бы утопить того, кто ближе.

Мышиная грызня поветрием распространилась по всем уровням. Вцепились обоюдно в глотки администраторы и бухгалтеры, водители и монтировщики, подружки-гримерши Ася и Валентина стали смертельными врагинями, кроткий пьяница Толик рассек бровь другому осветителю, помреж Мальский с завидной регулярностью строчил и подбрасывал мне докладные в жанре доноса, а уж что творили

актеры... Бог мой, ко всему же можно подойти творчески, а тем более к интригам, особенно если ты артист, к чертям собачьим! — но все гадости, которые эти люди подстраивали друг другу в открытую или исподтишка, были невероятно тупы и плоски, уровень разборок валялся настолько ниже плинтуса, что и выслушивать взаимные претензии конфликтующих сторон, и читать третью версию событий в изложении помрежа было тошно и муторно, словно ехать в тряской машине вдоль многокилометровой мусорной свалки.

Во всем этом не участвовала только Юля. Балетная девочка Юля, мне ее порекомендовал Яр, вот так просто позвонил через десять лет и предложил посмотреть. Я не хотела с ним говорить, не хотела его видеть — и не стала, нечего. Но все-таки поехала в то хореографическое училище, отсмотрела их там всех, начинающих балеринок с мускулистыми икрами, невысказанными амбициями и заранее изломанными судьбами. Юля. Она светила. Она бы вытянула на себе всё, весь фильм — на одном своем нездешнем свете, но что уж теперь говорить. Будем надеяться, у Яра есть кому позвонить еще.

Итак, если мы допускаем, что все-таки сплотились — не целая группа, конечно, какая-то часть, креативный центр, ядро — объединились ради страшной мести, так сказать... Открывать?

Или, может, не доставлять удовольствия, взять да и выбросить нераспечатанную в пруд? Кстати. Чтобы поймать кайф от подобной штуки, надо присутствовать при моменте, наблюдать, подглядывать, затаив дыхание... Где?!!

Резко развернулась — и напоролась на взгляд. Неожиданный и страшный, будто дерево посреди дороги навстречу на полной скорости.

— Кушать будете? — спросила девочка Таша.

— Он тебе говорит: или ты пойдешь со мной, или я тебя убью. Прямо сейчас. Что ты делаешь?

— Блин. Ну, иду с ним.

— Вы идете по длинному-длинному коридору. В конце — свет, серебристый такой, ненастоящий. А по бокам двери, много-много дверей через равные промежутки. Ты замечаешь, что одна из них приоткрыта. Что ты делаешь?

— Вырываюсь и убегаю, да?

— Это я тебя спрашиваю. Можешь вырваться, можешь дальше с ним идти. Или что-нибудь еще придумай.

— Что?

— Танька! Это же про тебя

история!!! Я задаю предлагаемые обстоятельства, а ты сама в них действуй. Ну?!..

— Обстоятельства... ты как задашь, блин. Ну, я иду с ним дальше. Может, загляну по дороге в щель, что там.

— Ага. Вы идете довольно быстро, щель узкая, но ты успеваешь увидеть светлую комнату и женщину у окна. Очень красивую, в голубом платье. Она оборачивается на ваши шаги, и ты в последний момент понимаешь, что это Анаис.

— Кто?

— Анаис! Ну, волшебница, которая была с тобой на корабле, помнишь, мы позавчера играли? Ее еще захватили в плен черные наемники Ричарда, потому что она как раз израсходовала силу на магический шар. Забыла?

— Помню, помню. А она меня увидела?

— Ты не знаешь. Вы прошли мимо. Свет становится все ярче, но мертвеннее, что ли. От него больно глазам. И вдруг справа резко распахивается створка двери, и вам наперерез выскакивает... Танька,

звонок?

— Вроде бы. Кто выскакивает?
Доскажи!

— Ты с ума сошла, контрольная же. Бежим!

— Ну Маринка!.. На фига нам эта контрольная, блин, ну опоздаем чуть-чуть. Ты доскажи, а я буду придумывать, что делать...

— Дура!!! Бежим, кому сказала!.. На следующей перемене.

* * *

Тоненькие обойные гвоздики вышли из фанеры легко, будто корешки маленьких растений из земли. Отбросила крышку подальше, в груды хлама, наваленную среди нескольких пристроек, столпившихся углами друг к дружке, словно набитые в тесном доке разнокалиберные корабли.

Внутри лежал сверток из темной ткани, уютный, как свернувшаяся кошка. Развернула мягкую фланель и обнаружила еще одну оболочку, белую, блестящую. И так двадцать раз подряд, пока в руках не останется пустота из-под последней обертки?...

А впрочем, какая разница, не суть важно, что там. Главное — меня все-таки выследили,

окружили, загнали в западню, в улавливающий тупик, вот на что оно похоже, это инкапсулированное место: а никакого не укрытие, не убежище, не спасительная щель. Конечно, здесь нельзя оставаться. Может быть, я и позавтракаю тут, с ними, но потом так или иначе придется уходить. Не имеет значения, куда. Куда-нибудь, где некому будет так разборчиво написать на зернистой фанере мое имя и адрес — и подбросить брутально, в открытую, не дав себе труд выдержать даже минимальную паузу.

Девочка Таша стояла рядом, смотрела во все глаза, черные и круглые, как последние ягоды на облетевших кустах. Под моим взглядом сглотнула, мимолетно облизала кончиком языка обветренные губы.

— Тарья, где у вас тут почта?

— Что?

— Откуда, спрашиваю, принесли эту посылку?!

Пожала плечами:

— Со станции.

— Я была у вас на станции. Там ничего нет.

— Не знаю. Отс всегда ходит сам.

— И часто он раньше приносил такое вот?

— Но вас же не было раньше.

Хватит. Кажется, ты просто тянешь время, приостанавливаешь его, замедляешь в рапиде,

чтобы он не снимался подольше, плотный белый чехольчик, под которым прощупывается что-то твердое, продолговатой формы. Черт возьми: сдернула одним коротким движением. Если они смотрят — бывает хорошая оптика — то пускай видят, что мне все равно.

Коробочка была ярко-синяя, с золотым вензелем, что-то очень ювелирное, подчеркнутое, претенциозное: никогда мне не дарили подобных вещиц, знаков-символов немереного богатства и небезупречного вкуса, даже и не пытались, даже Висберг, даже в те времена, когда почти ничего обо мне не знал. Забавно будет обнаружить в ней силиконовую какашку из магазинчика приколов — или, в лучшем случае, обыкновенное ничего.

Разумеется, внутри лежал еще один чехол. Кто бы сомневался.

— Ну?!! — выдохнула Таша. Подарить ей, что ли? Прямо сейчас, не открывая, это будет красиво. Если, конечно, не силиконовая какашка.

— Давай смотреть.

...И сначала я увидела пальцами. Твердый овал, выпуклый, словно линза, чуть-чуть неровный у нижнего края, поверхность камня всегда остается несовершенной, если шлифует мастер, имея целью не добиться безупречной формы, а извлечь на свет его тайную жизнь, картину, спрятанную внутри. Это яшма — я знала точно, знала раньше, чем

глянула глазами. Большой, почти в ладонь, медальон, оправленный в завитки мягкой кожи, на плетеном косичкой шнурке. Подцепила на палец, и камень закачался маятником, недолго, постепенно сокращая амплитуду, тяжелый. Подбросила, поймала в ладонь.

Яшма бывает какая хочешь, и черная тоже, матовая, непроницаемая — но картина в ней все равно есть, пускай неявная, проступающая на повороте в нужных полградуса, под лучом выдержанного в правильной пропорции солнца, в определенном прищуре ресниц. Серебристый женский профиль, а если вот так, то иероглиф, а может быть, пейзаж, дорога, море, ночь. Скользит между пальцами шнурок, рельефный, теплая змейка на ощупь: внимание. Воспоминание, дежа-вю.

«Прощание», четырнадцать лет назад, мой первый полный метр. Солнце, яркая набережная, и я перебираю десятки таких вот плетеных шнурков, и качаются окантованные кожей попсовые кулоны, а я искала деталь, метафору, сквозной образ, и все было не то, не то!!! — и Пашка чуть ли не силой оттащил меня от лотка, на котором не нашлось тогда вот этого конкретно, черного яшмового медальона... А теперь что, теперь поздно, и та неудача, одна из, тоже замята и забыта, да и обусловлена она была, конечно, вовсе не отсутствием в кадре куска черной яшмы.

Но ведь никто, никто не мог знать. Я сама не знала, пока не увидела.

Не может быть и речи о глупом розыгрыше, о мелочной мести, о жадных взглядах в длиннофокусный объектив из-за угла. Что-то совершенно, полярно другое. Ускользящее, как серебристый профиль-иероглиф с выпуклости черного медальона, странное, непостижимое, а потому требующее постижения, проявления рисунка, извлечения каменной картины на свет. И вместе с тем слишком притягательное для допустимого. Нельзя столько знать обо мне, нельзя видеть настолько насквозь. Никому.

— А дадите мне посмотреть?

Протянула, не глядя:

— Смотри. Если понравится, возьми себе.

— Можно?!.. — восхищенно-недоверчивый полувывдох-полушепот.

— Тебе нравится?

— Да...

— Бери. Но ты мне за это все покажешь и расскажешь. Как вы тут живете, что у вас где. Я может быть, надолго к вам, и я должна знать. Договорились?

Таша кивнула быстро-быстро, несколько раз, на ее настороженной звериной мордочке восторг мешался с боязнью обмана, вероломства, подвоха: не может же быть, чтобы такое сокровище — и так

дешево, почти что даром. Она права. Я тоже знаю, что даром — не бывает ничего. А потому лично мне не нужно. От кого бы то ни было; но хотелось бы знать, от кого. И я совершенно точно останусь тут.

Встала из-за спи́ла-стола, стряхнула с кольчужного подола свитера приставшие щепки и древесную пыль. Девочка застегнула наглухо, под горло, молнию на вороте болоньевой ветровки, медальон явно был уже там, под низом, но момент, когда именно Таша надела его на шею, я проглядела, пропустила. Значит, идем осматривать наши новые владения. Хорошо.

Новое место, будь это локации для съемок, или дом отдыха, или фестивальная гостиница — всегда кажется поначалу слишком большим, запутанным, странным, способным на дивные изгибы пространства и даже времени. Но стоит оглядеться, сориентироваться, разобраться, что к чему, где и зачем, как подобным вещам, иррациональным, родом из чужой и чуждой логики просто не найдется лишнего угла, квадратного метра уже своей, изученной земли. И все станет понятно, загадка разрешится сама собой — а предложенный выбор я и без того уже сделала. Дальше все будет просто, симметрично, соразмерно и красиво, словно сад камней.

Вигалик — сын родной сестры моей покойной мамы, мне он, соответственно, кузен, двоюродный брат. У него было двое детей от первого брака, Сева и Сонечка, Сева сейчас в Штатах, так вот Аня приходилась сводной сестрой Саше, Сонечкиному мужу, я понятно объясняю? Диктофон — это очень хорошо, записывайте, милая. Потом разберетесь, не сомневаюсь, сразу видно, что вы разумная девушка.

Аню я видела еще совсем юной девочкой, на Сонечкиной свадьбе, и потом еще один раз, когда они приезжали к нам в гости, еще до того, как Петю перевели на Северный флот. Вот, смотрите, это мы с Петей в порту, перед отплытием, он тут капитан второго ранга, правда же, какой видный мужчина? Тридцать шесть лет мы прожили вместе, тридцать шесть лет, и ни разу он мне не изменил, даже в дальнем плавании — я бы знала, жены всегда знают, попомните мои слова. Дай Бог вам такого мужа, деточка. Нет-нет, не буду отвлекаться, я прекрасно помню, вас интересует Аня. Вернее, Маришечка, но ее я никогда не

видела, только на фото. Все, что знаю — по Аниным письмам. Она часто мне писала, бедняжка, кому еще ей было писать?

Очень грустная история, да. Аня всегда была странная девочка, я еще на свадьбе заметила. Как будто испуганная, обиженная кем-то, у таких не бывает счастливой семейной жизни, увы. Прелестная, тоненькая, помню, Пете она очень понравилась... не думайте, он никогда не смотрел на других женщин, разве что чисто эстетически. С тем негодяем она встретилась через полгода после того, как мы переехали на Север, тогда она мне еще не писала, иначе я сразу объяснила бы ей, что это за тип. Конечно, он капитально запудрил девочке мозги: красивая трагическая любовь, все или ничего, а если вдруг поугас накал страстей (понятно же, у кого именно он поугас?), то немедленный разрыв и полная свобода. Кому свобода, а кому ребенок через восемь с половиной месяцев. Представьте себе, я еле уговорила Аню написать этому, биологическому отцу — и чтоб вы не сомневались, никакой реакции.

Но вы не знаете Аню. Какие она мне слала письма! Наивные, чистые, прямо-таки искрившиеся от счастья. У нее будет ребенок, девочка — тогда еще не делали УЗИ, но она откуда-то знала, с самого начала знала совершенно точно. У Ани был жуткий токсикоз, дважды ложилась на сохранение, а писала так, будто с ней происходит какое-то чудо. Ну, а когда родилась Маришечка...

Как они бедствовали, вы себе не представляете! Аня нигде не работала, пособие на ребенка платили мизерное, а ее родители — там отдельная драматическая история, вам же не очень интересно? Тогда не будем терять нить. Я ей помогала, чем могла, отправляла посылки раз в два месяца, в основном продукты из Петинского сухого пайка: в те времена, вы их, конечно, не застали, милая, был страшный дефицит, но военных-то хорошо снабжали.

Мариша была непростой ребенок. Какие ей ставили в детстве диагнозы, это ужасно, не представляю себе, как Аня вынесла. Но потом ничего, вроде бы переросла. Пошла в обычную школу, нормально по

возрасту, училась хорошо, а в старших классах даже отлично, потому что уже тогда решила поступать на режиссера и двинула на золотую медаль. При всех нервных расстройствах там всегда был железный характер: если что-нибудь вбила в голову, оно у нее будет, хоть бы мир перевернулся. Полная противоположность Ане, та никогда не была уверена, можно ли ей чего-то, заслужила ли — бедная девочка, не знаю, кто ж ее так обидел... А Маришечку с самого младенчества очень любили. Вернее, Аня и любила — за двоих, за десятерых, за всех. Вот и выросла.

Как ее все отговаривали от этого кино! И Аня, и классная руководительница, и в комсомоле, и я писала от своего и Петиного имени. Не женская ведь профессия совершенно! А вы напрасно морщитесь, детка. Если у вас есть этот новомодный диктофон и даже умненькая головка на плечах, это еще не значит, что вам не понадобится настоящий мужчина. Когда мы с Петей поженились, я была на четвертом курсе в Нархозе, шла на

красный диплом. И тут назначение на Северный флот — вы думаете, я колебалась хотя бы минуту? Женщина должна уметь приносить жертвы. Нет-нет, я не отвлекаюсь, я именно о ней, о Марине. Боюсь, она жертвовать чем-либо так и не научилась. Все беды в жизни от этого, вы записывайте, записывайте, подумаете потом на досуге...

Не видела я ее фильмов. Да что вы, какой принцип, просто я люблю другое кино, понятное, чувствительное, про любовь, ничего не подделаешь, у меня старомодные вкусы. Недавно показывали по телевизору документальный фильм, запрещенный в свое время, о какой-то там войне. Я потому и не переключила, что зацепилась за ее имя в титрах. Но это же ужас, это невозможно смотреть вообще!.. извините. Больше я вам, наверное, ничего не смогу рассказать. После Аниной смерти я совершенно потеряла Марину из виду, да пожалуй, и раньше, в последние годы Аня очень редко мне писала и довольно сухо. Сейчас люди вообще не пишут друг другу писем, не шлют посылок,

открыток к праздникам...

Знаете, Петя присылал мне открытку из каждого порта, куда они заходили на стоянку. С местным видом: получалось, как будто мы путешествуем вместе. Тридцать шесть лет!..

Пожалуйста, не верьте, если вам будут рассказывать. Мало ли что он делал у нее в комнате, может быть, зашел соли попросить по-соседски... Инфаркт — это же так внезапно, у Пети много лет было больное сердце. Кромешный ужас, не дай вам Бог пережить. Он все годы смотрел только на меня одну...

О Марише все, извините. Всего доброго, милая. Не забудьте ваш диктофон.

* * *

— Здесь летняя кухня. Вы можете сами себе готовить, если я уйду в лес и не будет никого. Газовый баллон видите? Вон тот краник поворачиваете до упора, а маленький вентиль вверх, и можно включать плиту. Газа много, Отс на той неделе новый баллон поставил. А вся посуда

тут.

— Ты часто уходишь в лес?

Глянула удивленно:

— Грибы же сейчас. И орехи. Осенью все в лесу.

— Про всех поподробнее. Много у вас тут живет людей?

— Не-а. Когда Каменки жили, то было много, шумели все время и дрались, мальчишки же. Но они в город уехали. Вон за той крышей, видите, острая — их половина. Вы туда не ходите, а то вернутся и скажут, что у них украли чего-то. А теперь только мы.

— Ты, Иллэ и Отс?

— Да. Здесь у нас баня. Если надо будет, скажите Отсу, он затопит. А так мы ее по субботам топим всегда. Кроме лета, летом-то можно в пруду.

— Купаться?

— Ага. Только там пиявки, но я не боюсь. Иллэ говорит, от пиявок сила. Ты им кровь, они тебе силу. Но она не всегда говорит правильно, потому что старенькая уже.

— Я думала, она вообще не разговаривает. Она твоя бабушка?

— Иллэ?

Таша приостановилась, посмотрела на меня, свела тонкие бровки над терновыми глазами, как если б услышала неожиданный, требующий

осмысления вопрос. Пожала плечами. Двинула дальше по лабиринту хаотичных строений и пристроек. Я шла за ней, в ногу, в такт, стараясь запоминать, фиксировать, развешивать внутренние маячки. Я буду здесь жить. А значит, рано или поздно все освою и пойму.

— Тут зимняя кухня и подпол. Если надо яйца, или соленье, или еще что-то такое, можно лезть, только осторожно, там лестница старая, запросто полететь. Отс обещает новую сколотить, но он не успевает все.

— А Отс тебе кто? — уловила в ее глазах все то же непонятное непонимающее выражение, и срочно переформулировала: — Он муж Иллэ? Или сын?

— Сын.

Ответ прозвучал, как отзвук, как эхо, и его разумная однозначность осталась под вопросом. Подумалось: может, она плохо воспринимает на слух наш язык, и тут же с опозданием изумило противоположное, а именно ее свободное щебетание без малейшей запинки или неправильности. Но акцент был, вернее, не акцент даже, а интонация, странноватая, нездешняя. Хотя что я знаю о здешних местах?...

— Таша, а для чего такие высокие корзины?

— Для полестья. Но можно и катышь собирать.

Кивнула:

— Ага. А вы давно здесь живете? Всегда или приехали откуда-то?

— Всегда.

И снова в ее ответе почудилось эхо: не надо задавать альтернативных вопросов, только предельно конкретизированные, чтобы и взамен получить конкретику, простую и понятную, как вот про полестье и катышь. Ничего, пусть будет, со временем, постепенно. Пойму, докопаюсь, узнаю. Проявлю, извлеку на свет картину, спрятанную в куске яшмы; для этого я, собственно, и осталась.

— К вам сюда приходят другие люди? Чужие, вроде меня?

— Зачем?

— Ну, как зачем... Например, почтальон. Курьер из города, вы же покупаете какие-то вещи, вон, тот же газ, наверное, заказываете? Или мастер, если сломалось что-нибудь. Или врач, если кто-то заболел. Или...

— Нет, Отс всегда сам. Если что-то надо со станции или в городе, он идет и приносит.

— А тебя с собой берет хоть иногда? Ты в школе, кстати, учишься?

— Нет.

На оба вопроса сразу. Нужно не торопиться, задавать по одному.

Таша завернула за очередной угол, и там

обнаружился колодец, незаметный, коварный: круглая оцинкованная дыра в земле, ворот сбоку и ведерко на цепи, а так ни возвышения, ни крышки — форменная ловчая яма, особенно в темноте. Надо как следует запомнить место. Девочка указала на него мимолетно, подбородком, но называть и демонстрировать не стала, заговорила о другом:

— Из чужих у нас художник жил. Все лето. В той пристройке, где сейчас вы, она у нас и есть для гостей. И недорого. Вы потом договоритесь с Отсом, если нужно.

— Хорошо, договорюсь. Расскажи. Про художника.

Удивилась:

— Но он же уехал.

— Все равно, мне интересно. Что он здесь делал у вас?

— Жил. Рисовал картины. Художник же.

Она говорила скучно, досадливо, словно не видела смысла развивать тему, и это было неправильно, иррационально: для ребенка, живущего в таком вот затерянном и монотонном месте, приезд чужого человека — художника! — должен был стать событием, вспышкой, ярким фрагментом жизни, о котором вспоминают долго и рассказывают взахлеб. Почему?...

— А тебя он рисовал?

— Меня?

И снова неправильно задумалась, свела брови, будто припоминая с трудом; мало ли, вдруг, может, она забыла. Припомнила:

— Нет, только лес.

— И давно уехал?

— Когда лето прошло. А тут Отс живет. Только вы к нему просто так не заходите, он не любит, если просто так. Скажите заранее — тогда можно.

— Они с Иллэ не вместе живут?

Большие глаза:

— Нет.

— А ты?

Кажется, Таша не поняла вопроса. Ну хорошо, уточним:

— Где тут твоя комната?

И тут она улыбнулась, даже нет, сильнее — просияла. Так бывает, когда внезапно открывается, словно момент истины, хорошая и своевременная возможность отблагодарить, отплатить, адекватно ответить на незаслуженное добро. Или подарок.

— Пойдемте, я вам покажу. Это вон туда.

Тема: Мой лучший друг

Сочинение ученицы 7-В класса

Самсоновой Татьяны

Я хочу написать про мою

подругу Марину. Она мой лучший друг, потому что мы сидим за одной партой с третьего класса. Моя подруга Марина учится на отлично и никому не дает списывать, потому что это не по-товарищески, она так думает. Она часто думает не так, как весь коллектив. Но я все равно с ней дружу, потому что мы настоящие подруги с первого класса.

Моя подруга Марина очень разносторонняя личность. Она сама придумала игру, в которую мы с ней играем на всех переменах. Игра называется «истории». Маринка придумывает историю про волшебников, красавиц, рыцарей, разбойников и всякое разное. А я в этой истории главная героиня, я говорю, что я делаю, и потом она придумывает дальше предлагаемые обстоятельства. Это очень интересно. Моя подруга Марина умеет придумывать лучше всех в классе. Лучше нее придумывает только Александр Дюма, это мой самый любимый писатель. Моя любимая у него книга «Виконт де Бражелон».

Еще моя подруга Марина умеет очень красиво рисовать всякие

картинки и даже людей. По рисованию она лучше всех в классе. По всем другим предметам у нее тоже одни пятерки, потому что она хочет стать кинорежиссером, а там большой конкурс, она так говорит. А я хочу стать киноактрисой. Подруги всегда должны помогать друг другу, а у нас с Маринкой дружба на всю жизнь.

Я хочу написать про один случай из жизни, который случился со мной и моей подругой Мариной. Один раз мы возвращались из школы и играли в истории. А мальчишки (Иванов, Рубин, Гальченко и Серых, им потом был выговор на доске позора) подвалили и стали приставать и стрелять жеваными шариками. Я хотела убежать и не связываться, потому что они уроды, даже сама Виктория Игоревна говорила, что по ним колония плачет. Но моя подруга Марина повернулась и как даст Гальченко портфелем по башке! Он свалился сразу прямо на асфальт, хоть и здоровый, как лось, а она отобрала у него рогатку и стала лупить его по морде с безумными глазами. Иванов сразу смылся, а Рубин и Серых сунулись, и моя подруга Марина

схватила их двумя руками за волосы и стучала лбами одного об другого до крови. А потом мы пошли дальше, и она бросила ту историю, а начала другую, страшно интересную, даже лучше, чем у Дюма. Ей ничего за это не было, потому что они сами первые начали. А Гальченко лежал в больнице две недели с сотрясением. Моя подруга Марина очень храбрая и скромная. Она потом говорила всем, как будто ничего не помнит.

Моя подруга Марина часто орет по пустякам, даже и на меня, но это ничего, потому что она моя подруга. А в классе с ней не хотят дружить. Я считаю, что это не по-товарищески и коллектив должен пересмотреть свое отношение.

Моя подруга Марина не очень красивая, потому что она брюнетка с черными глазами, а не блондинка с зелеными, как я. Еще она недавно влюбилась. Я знаю, в кого. Но это наша с ней тайна, и я никому не скажу, потому что нельзя выдавать тайны лучших друзей.

* * *

А у меня в детстве не было своей комнаты. Был письменный стол в углу нашей с мамой девятиметровки, за которым я делала уроки, рисовала, читала толстые книжки — маленькая страна-анклав посреди чужого государства, к суверенным законам которой никто, естественно, не желал прислушиваться. Нет, мама-то как раз позволяла мне все, все абсолютно, я ценю, я знаю, что у других бывало гораздо хуже. Но она хотела постоянно быть в курсе меня, моего чтения, моих рисунков и задумок, моей жизни. И не желала понять, что ей туда нельзя.

Когда у человека в детстве нет своей территории, это навсегда. Если вся твоя приватность впихивалась в единственный запирающийся ящик стола — претендовать на большее личное пространство ты уже никогда не сможешь. Впрочем, это как раз не особенно мешало мне жить: не в нашей профессии, построенной на постоянном контакте, на ветвистых взаимоотношениях и связях, необходимых для запуска человеческого механизма из множества кое-как пригнанных деталей. В силу ее специфики я попросту не могла позволить себе самодостаточного одиночества — даже если б и умела.

Маму понять можно, ничего другого у нее, в

общем, не было в жизни, только мои детские тайны, и то далеко не все. Уж я-то всегда умела сражаться за них. Так, что сотрясались стены, вспархивали птицы с карниза и ругались матом соседи. Так, что пробивало.

...— Вы слушаете?

— Да, конечно, Таша. Рассказывай.

— Зимой он живет вон там, за печкой. Ходит по ночам, если не знать, то немножко страшно. А весной убегает в лес, до самых холодов. В этом году не вернулся еще. Я как раз жду.

Кивнула, не стала переспрашивать: какое-то животное, наверное, не все ли мне равно, и незачем обижать ребенка, обнаруживая невнимание. Ташина комната была большая, просторная, как павильон на старой студии, и такая же пустая. Печка, лавка, сундук, пирамидка из трех подушек на лавке, льняные занавесочки и тюль на маленьком окне, почти не пропускающем света — золотые пылинки парят в узком квелом луче — и две пестрые дорожки на полу, косым крестом от печки до сундука и от дверей к окну. Слишком много лишнего, невостребованного пространства — но все оно принадлежит ей одной, и это самое главное.

— А где твои игрушки?

Яркая, светоносная улыбка:

— Сейчас покажу.

Как легкий зверек, Таша прыгнула к сундуку,

поколдовала над замком, откинула крышку. И принялась вынимать одну за другой, бережно, невесомо, все они лежали у нее в отдельных ячейках, переложенные чем-то желтым и мягким, вроде ваты или пакли, завернутые в тряпочки, которые она разворачивала осторожно, словно обезвреживала мины, установленные на бесценных произведениях искусства...

Что-то древнее, автентичное, резное и расписное, ручной работы — я так думала. Какие у нее еще могли быть игрушки?

Таша расставляла и рассаживала их даже не в ряд — причудливой шахматной цепочкой, исполненной тайного смысла. Голенастых барби с неродными головами и пучками кислотных синтетических волос. Аляповатых заводных черепах, лягушек и птиц с выломанными по счастью батарейками. Плюшевых зверей дикой расцветки и неопределимых биологических видов. Дешевые машинки, паровозики и кораблики мейд-ин-чайна. Разрозненные детали пластмассового конструктора, каждая в своем лоскутке. И так далее.

— Нравится?

Кивнула, сглатывая противный, как несъедобная слизь на языке, привкус откровенного вранья:

— Да. Кто их тебе подарил?

Она с готовностью, с ожидаемым удовольствием начала рассказывать. Вот эту барби — Отс, и мишку тоже Отс, а слоника прислали из города на праздник, а машинку — Мишка Каменок, он был хороший, не то что братья, жалко, что уехал. Конструкторинки сама нашла возле каменковского дома, уже после, когда никого не осталось, вы никому не рассказывайте, а если вернутся и будут искать, я отдам. И черепашку Отс, но уже давно. Она раньше танцевала и пела песенку, а сейчас просто. Очень жалко, но все равно красиво.

— Красиво, — машинально повторила я.

А в общем-то, оно же так и есть. Красота как безукоризненность, стиль, гармония, сад камней — по сути недостижима, и потому красотой в обычной жизни чаще всего назначается то, что, наоборот, резко выпадает из стилистики, выделяется на фоне, сверкает парадоксальной неожиданностью. Простейший прием, который сама же неоднократно пользовалась, особенно в документалке, заказной, необязательной; но я же никогда не умела так, чтобы совсем уж спустя рукава, левой ногой, без единого гениального кадра — или косящего под таковой. Россыпь граненых гаек и болтов на снегу из «Профессионалов»: Пашка плевался тогда откровенной, фальшивой постановочности кадра, а теперь его, по слухам, показывают первокурсникам в Стекляшке. Красота — это просто. Ее должно

быть сразу видно, в упор, хлестким изумлением по глазам, а остальное не имеет значения.

Под конец Таша достала из сундука и пару совсем других игрушек, что-то деревянное, струганное, потемневшее и затертое временем. Бросила на ковровую дорожку небрежно, без уважения к возрасту, ручной уникальной работе и прочим нездешним предрассудкам. Китайские штамповки в ее мире ценились несравненно выше, и понятно, почему. Небрежно, уже отвернувшись, захлопнула крышку сундука.

Я успела увидеть в последний момент, пока она падала, смыкалась, как лягушачья пасть, дождавшаяся мухи. Нет, разглядеть не успела. Но зацепилась, заподозрила, подалась вперед:

— Таша, открой.

— Что?

— Сундук. Открой, пожалуйста.

Она удивленно вскинула глаза, сидящая на корточках, сосредоточенная на прическе пергидрольной барби. Моя просьба была непонятна, потому что вылезала за горизонт новосозданного только что на ковровой дорожке ослепительного игрушечного мирка. Таше не хотелось отвлекаться.

— Если хочешь, я сама, сиди. Можно?

Пожала плечами, возвращаясь к игре. Я ступила вперед, подошла вплотную, нагнулась,

пробуя подцепить крышку — наверное, нужно под другим углом, не с той стороны, тяжело-то как, — и, наконец, откинула, раскрыла, рывком преодолев сопротивление, будто створку гигантского моллюска с перерезанным мускулом внутри.

Внутри. Да.

Обратная сторона тяжелой крышки была забита фанерой, зернистой, вернее, волнисто-рельефной под слоем то ли пыли, то ли плесени или паутины — мутного сероватого налета, и его надо было срочно счистить, стереть, проявить наружу скрытое в нем, словно в необработанном камне. Провела размашисто раскрытой ладонью, тут же окрасившейся грязно-бурым, а затем, подкатив к плечу рукав кольчатого свитера — всей рукой, предплечьем, собирая на себя паутину и пыль, ощущая кожей ту наждачно-пружинистую рябь, какую создают единственно мазки масляной краски, мелкие, частые, выпуклые, теснящиеся, наползающие один на другой.

Отступила на шаг.

Картина проявилась фрагментами, полосами, будто сквозь неровный клочковатый туман. Лес. Летний лес, зеленка, неблагодарная натура для съемок, и для этюдов, наверное, тоже. Коричнево-оранжевые стволы, мельтешащие мазки листьев, от изжелта-салатового на солнце до черно-фиолетового в тени. Красочная

неряшливость, какую часто позволяют себе художники, в ней с успехом получается много чего скрыть; у нас ту же роль играет рваный монтаж, клиповая стилистика, резкие перепады планов, — а я вот никогда не пыталась, не пряталась, принципиально ставила на точность кадра, света, тени и линий. Но дело не в этом. Осталось еще слишком много черной грибковой грязи вот тут, в углу, возле самых петель, и надо срочно, немедленно счистить...

Девочка Таша смотрела изумленно, опустив куклу. Как я усердно, явно решив протереть дыру насквозь, вожу кулаком по краю внутренней поверхности крышки.

Красная, в контраст к зелени, монограмма. Буква «М» из четырех условных перекрещенных шпаг — как в одной его любимой с детства книжке.

Михайль.

Значит, яшма. Кремнистая, осадочная или осадочно-метаморфическая порода, сложенная в основном тонко- и микрозернистым кварцем, иногда с долей скрытокристаллического халцедона, плюс второстепенные минералы, их долго перечислять, но от них как раз и зависит, какого она

окажется цвета, какую прячет картину. Ну хорошо: могут быть включены оксиды и гидроксиды железа и марганца, эпидот, актинолит, хлорит, магнетит, пирит, щелочные амфиболы... нечего-нечего, сам просил. Иногда попадаются кремневые скелеты радиолярий, морских одноклеточных водорослей, тоже красиво. Яшма — от слова «яспис», пестрый, крапчатый камень.

Яшмы бывают однотонные, полосчатые, ленточные, пятнистые, пестроцветные, пейзажные, рисунчатые — какие хочешь. И всегда непрозрачные. И никогда не знаешь заранее, что там скрыто внутри. Смотри, любуйся, их тут у меня много, изрядный кусок мира, могу поделиться с кем угодно, не жалко. Недорогой, поделочный камень: в жизни, особенно такой, как была у нас с тобой, полно недорогого и поделочного — но ведь настоящее, но ведь прекрасно.

Да ну тебя, не торопись. Давай полетаем, поразглядываем как следует, люблю это место, а у тебя-то тем более должен быть профессиональный интерес, а? Ну да,

там впереди еще много всякого-разного. Успеем; чего-чего, а уж времени теперь...

Глава третья. Сердолик

А вторую я нашла уже у себя в комнате. Не в сундуке, хотя именно с сундука я, конечно, и начала искать — а за ставней, прислоненную к стене под углом, призванным не давать створке закрыться. Прикладное, полезное назначение для ни на что другое не годной доски. Угол между ней и краем окна представлял собой сплошную сероватую пряжу многослойной паутины.

Очистила. Да, Михайль. Но ничего особенного, проходной пейзажик, этюд, необязательный, неряшливый; Михайль умел гораздо лучше и всегда знал об этом. Ставня с опозданием, словно обдумав и решившись, начала закрываться с натужным скрипом, и я приперла ее снова, как было. Уже почти спокойно.

Там, у Таши, в ее непомерной детской с ковровыми дорожками крест-накрест и абсурдными пластиковыми сокровищами, я едва-едва удержалась — на самом краю, на изломе, на грани. Уже подплеснуло под горло, бросило в жар, закипело, забурлило раскаленной спиралью —

как?!.. откуда?! — а девчонка-идиотка молчала, вертя головой и глупо хлопая ягодными глазами, и не прекращала к тому же причесывать такую же глупую платиновую барби — схватить, отбросить, встряхнуть, заорать на пределе звука: откуда это у вас?!.. когда он был здесь?! — я была готова, честное слово. Но удержалась, сбежала оттуда, спотыкаясь на дорожках, сминая их складками и долго, едва не оторвав ручку, дергая не в ту сторону створку двери под взглядом потрясенной Таши. Пронеслась по инерции несколько метров, свернула, остановилась за углом, опершись ладонями на шершавую стену и хватая губами сырой и стылый воздух. И ничего: отпустило, устоялось, улеглось. Даже не пробило как следует. Даже из-за такого — уже не пробивает по-настоящему.

Этим летом у них тоже ведь жил художник. Они, наверное, то и дело останавливаются здесь, художники: прикормленное место, координаты которого циркулируют, передаются по цепочке внутри локального информационного поля, каковое создает вокруг себя каждый профессиональный цех. Пленэр на станции Поддубовая-5. Тихое место, хорошая натура, жильё недорого. Михайль никогда не рассказывал: за пределами цеха такие сведения попросту теряют значение и смысл. А теперь вот я здесь — и в этом тоже нет больше ни смысла, ни

особого значения.

Развернула доску лицом, в таком положении она тоже неплохо держала ставню. Нормальные художники указывают на работах дату, хотя бы год — а он только рисовал свою пубертатную монограмму. Судя по слоям плесени и паутины, эти доски провалялись тут черт-те сколько, точнее не датируешь. Можно, конечно, расспросить Отса.

Надо расспросить Отса.

Я вышла из своей каморки в неожиданный, преждевременный сумрак: ноябрьский день всегда заканчивается раньше, чем как следует начинается, натурные съемки в ноябре — экстрим не для слабонервных. Поняла, что снова ни разу не ориентируюсь здесь: уже расчерченная, размеченная, нанесенная на внутреннюю карту территория опять поплыла и растворилась, теряя очертания, возвращаясь в исходную терра-инкогнита. Таша показывала мне флигель Отса, куда, кстати, нельзя идти без предупреждения — но толку, все равно не найти, независимо от того, был бы хозяин рад мне или нет. Естественнее и разумнее просто его позвать. Почти не повышая голоса (кричать было бы совсем уж причудливо), без направления, в сизую темень, в никуда:

— Отс.

Разумеется, никто не отозвался. Он реагирует, наверное, только на голос своей матери, или жены,

или кто она ему, эта старуха. Кстати, когда мы с Ташей обходили поселение, Иллэ уже не было на крыльце, нигде ее не было. Неужели в ее корзине все-таки закончились орехи?

— Вам что-нибудь нужно, Марина?

Ну вот. Могла и не сомневаться.

— Да, Отс. Поговорить с вами. Видимо, я останусь тут на некоторое время, хотелось бы обсудить детали.

— Да, конечно. Идемте.

Во мгlistом сумраке Отс казался совершенно бесплотной тенью, и я даже никак не могла определить точно, с какой стороны от меня он движется длинными шелестящими шагами. Каждый раз ирреально заставляли врасплох короткие прикосновения в плечо или спину, направляющие, куда идти. Взял бы уже за руку, было бы определеннее и проще. За лабиринтом по-прежнему незнакомой дороги я никак не успевала и вскоре перестала пытаться следить.

— Осторожнее, здесь крыльцо. Сейчас я включу свет.

Он исчез в ту самую секунду, когда я споткнулась, все-таки налетев на ступеньку, и чуть не клюнула носом, не ухватив никакой опоры в пустоте. И в тот же момент зажегся свет, высветив помещение впереди, как раковину. Сквозь прозрачную стеклянную дверь, через приоткрытую

щель. В доме человека, который очень не любит, когда к нему приходят без предупреждения.

Сам Отс показался через пару мгновений из-за угла, электричество у него включалось где-то снаружи, наверняка одним общим рубильником на весь флигель. Взбежал на крыльцо, распахнул дверь:

— Входите, Марина.

Поднялась, мимолетно пощупав дверь: действительно, стекло, довольно тонкое и практически без рельефного рисунка. В короткой прихожей громоздились какие-то ящики, палки, корзины, стоял в углу серый мешок с длинным завернутым краем, беспорядочно толпились несколько пар обуви, лесной, залепленной грязью, листвой и хвоей. Заколебалась, разуваться ли, но Отс прошел в комнату так, и я вошла вслед за ним.

— Присаживайтесь.

У него тоже было просторно, хоть и чуть поменьше метражом, чем у Таши. Точно такие же дорожки по дощатому полу, полосами и зигзагами, контрастными под белым светом матового плафона. А по всему периметру комнаты стояли стеллажи, узкие, металлопластиковые, вплотную друг к другу, высотой до пятиметровых потолков, еще более парадоксальные, чем Ташины китайские игрушки; но теперь, после картин Михайля, меня тут уже ничто, наверное, не удивит. Все стеллажи были

дробно и плотно, словно черепицей, испещрены ребрами пластиковых коробок с дисками. Один из них уже почему-то оказался у меня в руках, черт его знает, когда и как; повертела, прочла, поискала взглядом его родную свободную ячейку, вроде бы нашла, сунула, искоса глянула на Отса: кажется, не видел. Кино, DVD. Если все это дивидишки с фильмами, тут и мои наверняка есть, и все равно непонятно, когда это человечество успело снять и оцифровать столько картин. Но, скорее всего, половина все-таки музыка. Надо будет потом спросить.

— Впечатляющая у вас коллекция.

— Неожиданная, вы хотели сказать.

— И то, и другое.

— Почему вы до сих пор стоите? Садитесь, я вас слушаю.

Оглядевшись, я сообразила наконец, куда сесть; до сих пор низкая кушетка попадала на слепое пятно, в зону невидимости. Отс давно уже сидел напротив, прямой и бесстрастный, освещенный безжалостно и ярко: сколько же ему примерно лет? Вдруг показалось, вернее, предположилось, что узловатые продольные морщины на его щеках — на самом деле шрамы от ран или ожогов, похожие были у одного лесовика там, в горах... Интересно, может, здесь и «Морда» тоже есть? Был же потом, после всего, небольшой

тираж на DVD.

Но пора уже что-то говорить.

— Мне понравилось у вас, Отс. Ваша девочка, Тарья, сказала, что вы сдаете жилье... по демократичной цене.

— Разумеется, это ведь очень скромное жилье.

— Меня оно устраивает. И сколько?...

Он назвал цену, нереальную, смешную, так запрашивают условную копейку за подаренный нож. Кивнула, не выказывая удивления, да и нечего тут выказывать, вынула из бумажника купюру — бокал вина в хорошем ресторане или полтора месяца в камере, где придерживает ставку пропыленный этюд работы Михайля. Отс принял бумажку спокойным экономным жестом, спрятал в карман. Сделка совершена. Теперь можно просто поговорить.

— Вы часто принимаете постояльцев?

— Не слишком. Все-таки слишком отдаленное от цивилизации место, практически никакой инфраструктуры, — профессионально поставленные лекторские интонации в голосе. — Но случаются люди, которые ищут именно тишины и покоя.

— Писатели, художники?

Напряглась, как будто от его ответа зависело бог весть что.

— Да, художники приезжают регулярно. Здесь хороший пленэр.

А теперь просто назвать имя. Фамилию, которую припоминают теперь лишь в узкопрофессиональных кругах, да и то с трудом, хотя он был талантливее всех. Но всегда чуть-чуть недотягивал, промахивался на волос, отвлекался на ерунду, расслаблялся не вовремя, на мгновение разминался с удачей, и так каждый раз, из года в год, все время где-то рядом, вот-вот, руку протянуть до настоящего успеха. Точь-в-точь как я. И у нас были совершенно одинаковые глаза, все всегда удивлялись, как это.

Его имя и вопросительный знак. А потом будет пауза, морщины на коричневом лбу и, наконец, ответный кивок: да, кажется, был и такой. Давно, лет десять назад. Может быть, Отс даже великодушно разрешит мне взять себе ту заросшую пылью картину, нужна она мне, черт возьми, два раза нужна — подпирать ставни!!!!..

— Марина, вы плохо себя чувствуете?

— Нет, спасибо, все хорошо, — и вправду, схлынуло, спало, не захлестнуло. — Я еще хотела спросить вас, Отс... о той посылке. Где вы ее взяли?

— На станции.

— Но...

Он кивнул, понимающе улыбнулся —

морщины на лице отреагировали неправильно, асимметрично, они и вправду скорее шрамы, — и пояснил обстоятельно, будто отвечая на студенческий вопрос:

— Почтового отделения у нас на станции, конечно, нет. Когда вам понадобится что-нибудь кому-то отправить, придется выбираться в город. Но всю входящую корреспонденцию нам привозит два раза в неделю один из проходящих поездов, он останавливается на полминуты и отгружает почту, если таковая имеется. Я всегда отслеживаю, можете быть спокойны.

— То есть эту посылку тоже привезли на поезде, со всей почтой?

— Видимо, да. Я пришел на станцию немного позже, — Отс неопределенно пошевелил узкой жилистой кистью. — Другой почты сегодня не было. Но вообще система доставки у нас налажена, вы были правы, что дали вашим знакомым адрес заранее.

— Никому я его не давала.

Посмотрел без особого удивления или недоверия, как будто так и надо:

— Тогда я не знаю.

В его темном лице не отразилось ни проблеска интереса ни к очевидной несообразности и загадке, ни к моим словам и вопросам, ни ко мне самой. Мы договорились, я расплатилась, мне пора

уходить. Встала, окинула напоследок длинным панорамным взглядом коллекцию по стенам. Ни на одной студии, где мне приходилось работать, ни в архивах или фильмотеках не видела ничего подобного. Интересно, он хотя бы смотрит их регулярно, свои бесчисленные диски?

— У вас тут есть DVD-плеер, Отс?

— Да, конечно, — он поднялся тоже, шагнул в сторону двери. — В соседней комнате. Вы можете иногда заходить ко мне, Марина, выбирать себе какой-нибудь фильм и смотреть. Мне кажется, вы должны ценить хорошее кино.

Усмехнулась:

— Мне тоже так кажется.

Я боюсь, что они уже... ну, ты понимаешь. Что она с ним спит.

Нет, хороший мальчик, студент с параллельного отделения, Пашей зовут. Приходил к нам один раз, Мариша думала, что меня не будет дома. А так я бы и не узнала даже, она ведь ничего не рассказывает. Серьезный парень, взрослый, после армии, хочет стать кинооператором. У него мама имеет какое-то отношение к кино, я не совсем поняла, что именно за профессия, было неудобно

переспрашивать... Выпили чаю, и Мариша сразу его куда-то утащила. Больше не приведет, наверное. Почему она все от меня прячет? Я же всегда... я бы поняла, разрешила бы, помогла, поддержала, и она знает. Почему?...

У них на курсе две девочки всего: Мариша и вторая странная такая, стриженная, на мальчика похожа, она гораздо старше, чуть ли не под тридцать. Там почти все старше, многие уже с каким-то нормальным человеческим образованием, я смотрела по журналу, когда ходила в институт, к их мастеру. Что она мне устроила тогда!.. Видишь, второе стекло так и не вставили с тех пор, а ведь зима скоро. Кричала, будто я вообще не должна там появляться, что я ее компрометирую и еще всякое, совсем уж невообразимый кошмар, но я привыкла, ты же знаешь. А мастер у них — кинорежиссер и артист, очень известный, забыла фамилию, но ты мне сейчас скажешь: отец мальчика-музыканта в сериале про Рыжую. Неужели не смотришь? Подожди, дай вспомню, он много где

еще играл...

Мы с ним долго разговаривали про Маришу. Признался, что сразу хотел ее срезать, они вообще неохотно берут девочек на режиссуру, тем более сразу после школы. Училась бы теперь на филфаке... ладно, чего уж там. И до сих пор не уверен, правильно ли решил. Он вообще странно говорит, как бы недомолвками, закругленными, но неполными фразами, и голос такой актерский, поставленный, вкрадчивый. Интересный мужчина... да ну тебя, я про другое совсем. Мне не нужно, ты же знаешь. Сказал, что не уверен, есть ли у Мариши талант. Но у нее есть, говорит, что-то другое, более важное и редкое, чем талант, — подожди, как он сформулировал, — выход на другой уровень, кажется. Другое восприятие, мышление совсем другими категориями. Я не уверена, что правильно его поняла. Все время хотела спросить, не было ли с Маришей на занятиях... не пробивало ли ее там? Но тогда она точно бы не простила.

Понимаешь, она же не любит его, этого мальчика, Пашу. Сразу

видно. Смотрит на него так равнодушно, спокойно, как на удобную мебель. Да нет, какие там друзья... Просто, наверное, у них там в институте считается, что обязательно нужен парень, ну, партнер. Это же не нормальный человеческий вуз, не филфак, а кино, богема. Но Марише всегда было абсолютно все равно, что где принято... нет, не понимаю. Смотрю, и боюсь, и ничего не могу поделать. Вот завтра она придет и скажет мне так запросто, будто про еду или погоду: мама, я беременна. Хотя нет, она не скажет, будет что-то решать сама. А? Ну да, молодец, напонила. Но я-то решила по-другому...

Если она по-настоящему влюбится, я все-таки узнаю, наверное. Да нет, как я узнаю... Она же там и живет, на том своем другом уровне, в другом мире, совершенно другом. Подожди, который час?

Слушай, Мариша сейчас придет, и я тебя очень прошу: не смотри на нее, ни о чем не спрашивай, поздоровайся, и все. И давай о чем-нибудь говорить, я не знаю, ну, о твоей работе, про Сашку твоего...

Чтоб она не догадалась. Она совершенно не терпит, когда ее обсуждают.

Нет, это не смешно. Ты все равно не поймешь.

* * *

Мне понравилось просыпаться здесь.

Жесткое, я всегда такие любила, достаточно просторное ложе, усеченный свет из окна, в упор глядящего в другое, наглухо запертое ставнями, беленый потолок над головой, здоровые древесные волокна дверного сруба напротив. Ничего неправильного и лишнего. Когда дневная жизнь приходит конкурировать со сном, она должна быть именно такой — лаконичной, стройной, упорядоченной. Ничего такого, из-за чего мучительно не хотелось бы встать.

Раньше он присутствовал практически всегда, этот короткий, но невыносимый момент преодоления, концентрации силы в пучок, направленный против всего и всех. Момент, тем более противоестественный и жгучий, если ты просыпаешься не одна: по крайней мере, у меня всегда было именно так.

Легким движением села на низкой лежанке,

прогнулась, сцепив пальцы на спине: гибкость позвоночника внушает уверенность в чем угодно. Нашарила щетку на сундуке, несколько раз провела по чернобурой гриве, бросила обратно, подцепила джинсы и свитер. Конечно, неудобно, когда для приведения себя в порядок нужно сразу выходить на улицу, но даже в этом присутствовал отдельный смысл, правильный, тонизирующий; да, собственно, никогда я не зависела напрямую от бытовых удобств. Может быть, ближе к зиме оно станет ощутимее, но до зимы надо еще дожить.

Распахнутая дверь, язык студеного воздуха врывается внутрь. Короткая дорога напрямик к умывальнику, всего несколько шагов среди бревенчатых стен и беспорядочной утвари — а казалось. Здешняя территория как-то сразу, в одночасье, сделалась компактной, небольшой, простой и понятной во всех направлениях. В деревянном сердечке уборной дрожала паутина в капельках росы, покачивался в центре маленький черный паучок. Я представила себе вопль, к примеру, Таньки Самсоновой, окажись она тут, на моем месте, — и звонко, без напряжения и надрыва, расхохоталась вслух.

Вернулась мокрая, забыла прихватить с собой полотенце, пронизанная холодом, преувеличенно, наркотически бодрая. И тут же увидела письмо.

Письмо лежало на подоконнике, между

распахнутых для проветривания створок и ставен. Уголок прямоугольного конверта чуть нависал над полом и подрагивал на сквозняке. Я закрыла дверь, и письмо спланировало на пол, пришлось наклоняться, поднимать.

Запечатанный конверт старого образца, с картинкой. Почтовый штемпель. Адрес: область, район, станция Поддубовая-5. И мое имя полностью, кто бы сомневался. Все это было отпечатано, и не на компьютере даже — на пишущей машинке, светлые оттиски букв старательно втискивались в типографские строчки на конверте.

Повертела его в руках, присматриваясь, нелепо, как если бы надеялась найти какие-то улики, отпечатки пальцев, что ли. Задела локтем край ставни, она со скрипом начала закрываться, и кусок фанеры, покрашенный мелкими мазками масла и подписанный монограммой «М», с глухим хлопком свалился мне под ноги.

А я уже разорвала край конверта грубыми бумажными волнами. Уже вытянула, торопясь, дергая и сминая, лист бумаги, сложенный вдвое, с подогнутой полоской поперек — стандартный формат А-4, исписанный дробно с обеих сторон. И уже узнала почерк.

Выскочила на порог, окатившись сквозняком, как холодным душем:

— Отс!!!

Переждала, прислушиваясь: сейчас появится, мы уже пробовали, всегда он является на зов, словно дух на спиритическом сеансе. Тем более что он точно где-то недалеко, успел же занести письмо в комнату, пока я ходила умываться. Сейчас и спросим у него, откуда. Сомнительно, чтобы на станции и по ночам сгружал почту проходящий поезд.

Пробирал утренний холод, острый и влажный, как лезвие, проникал под кольчужные рукава, с непривычки подмоченные под умывальником. А может быть, и не утренний, просто позднеосенний, за ночь резко похолодало, обычное дело в ноябре. Отс все не приходил, да и нету здесь поблизости никакого Отса, никого здесь нет — уж мне-то всегда хватало рецепторов, позвоночной чувствительности, чтобы определить наличие кого-либо в радиусе, и довольно большом. Письмо лежало на подоконнике, теоретически его могли положить туда и с другой стороны, через окно. И даже дотянуться из окна напротив: кто там живет?

Нет, правда, холодно. Вернулась в комнату, сдернула с лежанки лохматое, будто давно нечесанное одеяло с ярким орнаментом, закуталась, как в плащ. Под ноги попалась так и не поднятая доска, пришлось присесть на корточки, распахнуться, выпустить наружу руку-ложноножку,

подцепить, припереть наискось к ставне. Нет, Михайль, так не пойдет. Старый этюд, заросший грибами и пылью — это нормально, в пределах невероятного совпадения и здравого смысла. Но не письмо. Тем более адресованное мне.

Подметая сначала ступеньки, а затем землю краем одеяла-плаща, прошла по бывшему лабиринту, а теперь просто узкому извилистому ходу между постройками, загроможденному всякой всячиной, во двор. Здесь тоже никого не было, в пустой тишине преувеличенно отдавались фоновые звуки: посвистывание ветра и птиц, шорох мелкого сора под моим шлейфом, шелест листьев, дыхание леса. Возле крыльца стояла корзина старухи Иллэ, почти доверху полная лещины в ажурных сухих юбочках. Миски для очищенных орехов на крыльце не было, а то бы я, наверное, присела полущить. По идее, должно успокаивать нервы, древнее спокойное занятие, нивелируя своей журчащей медитативностью все острое, режущее и контрафактное, не могущее быть никогда.

Или постучаться к Отсу, к Таше?

Разумеется, я так и сделала. Заранее зная, что поселение пусто, словно оболочка вроде бы и целого на вид, но подозрительно влажного, почерневшего ореха. Осень, осенью все в лесу. Поймать момент, приоткрыть створку ставен, протянуть руку, а потом запросто выйти наружу с

другой стороны, обращенной к пруду, к лесу или к тропинке, ведущей на станцию, не имеет значения. Чтобы мне было не у кого спросить — до того, как сяду и прочту.

Ну?!..

Мои взаимоотношения с письмами, телеграммами, записками, мейлами, эсемесками и прочим всегда были лаконичными и скоростными, без малейших зазоров и пауз: чистое потребление информации, которая теоретически может потерять актуальность за лишнюю минуту, но уж точно не станет менее болезненной и непоправимой из-за твоих колебаний. Так было всегда. Меня несчетное множество раз убивали именно так, написанными, а потому неотменимыми словами — и ничего. Весь свой заряд, смертельный либо живительный, нейтральный либо потрясающий до основ твой обитаемый мир, слова получают в момент написания, а вовсе не прочтения, как может показаться.

Оказывается, я обошла все поселение, так и не определив, окно какой именно постройки граничит с моим: чистый самообман считать, будто я уже сориентировалась и освоилась тут. Черный ониксовый пруд упал под ноги неожиданно, из-за угла, будто подброшенный извне, как посылка с яшмовым кулоном или вот это письмо, которое надо в конце концов прочитать.

Зябко закутавшись в одеяло, подвернув лохматый край в несколько слоев на холодной сырой земле. Можно было, наверное, устроиться поудобнее, в комнате у окна или хотя бы на деревянном крыльце возле корзины. Но хватит проволочек. Все равно ведь уже никак не будет менее больно.

Так и напишете: мужчины Марины?... название главы, серьезно?... сами придумали? Мужчины Марины! Нет, звучит. Вообще-то она никому не рассказывала, а если вдруг отлавливала какие-то сплетни о себе, это был крошечный ужас для тех, кто на свою голову попробовал их распускать. Но все равно: у каждой женщины, даже такой, как она, всегда есть подруга, которая знает. Не какие-то запредельные подробности, интимности и чувства, но основной фактаж — да. Так и надо? Вот и замечательно. Слушайте.

Начнем с Пашки, так проще. Ну, правда, не со школьной же влюбленности начинать, это было бы смешно вообще. Хотя я все помню, мы с Маринкой уже тогда были

лучшими подружками, потом вместе поступали, правда, я провалилась на актерском, но потом... Ладно, поехали по-взрослому.

С Пашкой они были знакомы всю жизнь и всю жизнь оставались более-менее вместе. Одно время она даже замужем за ним была, выскочила еще в институте, на последнем курсе. Там как-то завязывалось то ли на армию, то ли на распределение в столице... короче, расписались на раз-два — и еще много лет после всего никак не могли выкроить время и силы, чтобы развестись. Пашка был, конечно, козел, во всех смыслах. Маринка его знала, как облупленного, но на крупных авторских проектах работала только с ним. Говорила: знаешь, Танька, все-таки свой, апробированный, надежный козел по-любому лучше кота в мешке. Не сказала бы, чтоб он был по-настоящему талантливым кинооператором, так, средненький крепкий профессионал. Надежный, да; по работе, я имею в виду. А надежность она ценила больше всего, по-моему, это единственное, что она вообще когда-нибудь в ком-то ценила.

Ну да, периодически у них возобновлялось. Особенно на выездах, на натуре: понимаете же, обстоятельства располагают, было бы с кем, а тут рядом свое, обкатанное, так сказать, проверенное годами. И главное, никаких взаимных обязательств, ожиданий и претензий — высшая степень взаимопонимания. Вот я, например, если рву с кем-нибудь, то это навсегда, я просто физически не могу общаться со своими бывшими. А Маринка ничего, могла.

Вообще же ее многие в наших кругах искренне считали фригидной: при ее-то темпераменте, при всех запредельных вспышках, взрывах, скандалах с жутким накалом страстей... Наверное, трудно было представить, что при таком раскладе ее хватает на что-то еще. Но это полная чушь: мужчины у Марины (хи-хи, нет, но звучит же!) имелись практически всегда. Единственное, что в основном кратковременные, попробуй ее выдерживать чересчур близко. О многих ее связях и сказать особенно нечего: не связи, а пересечения, мгновенные и

убийственные, вроде короткого замыкания. Говорят, на съемках «Морды», ну, тех, скандальных, у нее завязался роман с лесовиком-террористом, и этот этнический герой потом голой грудью бросился под обстрел... но сама Марина никогда не рассказывала, даже мне — так что вранье, скорее всего. А из тех, кто был на самом деле и кому удалось рекордно долго с ней продержаться...

Ну, Яр, конечно. Яромил Шепицкий, поляк, танцор, хореограф. Вот с кем ей было спокойно, если только про Маринку вообще можно так сказать. Очень красивый мужчина, высокий, стройный, балетный, ну, вы понимаете. Такой уравновешенный и веселый, вся студия была в него влюблена: он тогда работал на одном танцевальном телепроекте и дружил со всеми абсолютно. С Маринкой они познакомились не по работе, а так, случайно, в буфете, что ли. Это на «Студии-плюс» было, они потом накрылись в дефолт, жалко, приятное место и люди работали милые...

Яр всегда умел ее гасить. Поясняю: когда на Марину

накатывало, она делалась такая, что посторонние люди, кто не в курсе, чуть ли не бросались в психушку звонить или в скорую; ну, мы-то знали, что поделывать ничего нельзя, только переждать, пока пробьет и отпустит. А он только улыбнется, отпустит какую-нибудь шуточку по-польски — глядишь, а Маринка уже смотрит по-человечески, приглаживает волосы, улыбается виновато. И знаете, что я думаю? Они потому и разошлись. Она так не могла — чтобы не пробивало. А вообще-то они удивительно друг другу подходили: как вспомню, вечно смеялись, обсуждали что-нибудь захлеб, гуляли вдвоем, им обоим нравилось подолгу бродить пешком... Но вот так. Он, кстати, был первым, кто начал искать ее, когда они пропали в тех горах, в горячей точке, поднял международные организации и все такое. А когда она вернулась, представляете? — даже не стал с ней встречаться, уехал к себе в Польшу в тот же день.

Был еще Висберг. Ну, Висберг — это отдельный разговор, слегка трагикомического толка. Дело было в